Дорога уходит в даль…

Автор:
Александра Бруштейн

Дорога уходит в даль…

Александра Яковлевна Бруштейн

Дорога уходит в даль #1Школьное чтение (АСТ)

«Дорога уходит в даль…» – первая повесть автобиографической трилогии («В рассветный час», «Весна») Александры Бруштейн (1884–1968).

В книге описываются детские и школьные годы юной Сашеньки Яновской, прототипом которой является автор. Детство и юность героини проходят в дореволюционной России сначала в провинциальном городке, а затем в Петербурге.

Вечные темы не устаревают – именно поэтому этой книгой зачитывалось не одно поколение читателей.

Для среднего школьного возраста.

Александра Бруштейн

Дорога уходит в даль…

© Бруштейн А. Я., насл., 2016

© Челак В., ил., 2016

© ООО «Издательство АСТ», 2016

* * *

Памяти моих родителей посвящаю эту книгу.

Автор

Глава первая. Воскресное утро

Я у мамы и папы одна. Ни братьев у меня, ни сестер. И это уже – пропащее дело! Даже если у нас еще родится кто-нибудь – мальчик или девочка, все равно, – мне-то от этого никакого проку! Мне сейчас уже девять лет, а им будет – нисколько. Как с ними играть? А когда они меня догонят, дорастут до девяти лет, мне-то уже будет целых восемнадцать… Опять неинтересно будет мне с ними!.. Вот если бы они теперь, сейчас были моими однолетками!

Я беру с маминого столика маленькое – размером с книгу – трехстворчатое зеркало. Открываю все три створки – из них смотрят на меня с одинаковым любопытством три совершенно одинаковые растрепанные девочки с бантом, сползающим на один глаз. Я воображаю, будто это мои сестры.

– Здрасьте! – киваю я им.

И все три девочки очень приветливо кивают мне, тряся своими бантами. Неслышно, одними губами, они тоже говорят: «Здрасьте»…

Можно, конечно, еще и высунуть язык, провести им по губам справа налево и обратно, можно даже попробовать дотянуться кончиком языка до носа – зеркальные девочки в точности повторят все эти движения. Но ведь неинтересно! Вот если бы я закивала «Да, да!», а которая-нибудь из зеркальных девочек замотала бы головой «Нет, нет!» Или другая из них засмеялась бы,

когда я не смеюсь, а третья вдруг вовсе взяла бы да ушла!

Гораздо интереснее та девочка, которая смотрит на меня с блестящего выпуклого бока самовара. Хотя у нее все тот же бант, сползающий на один глаз, но все-таки она одновременно и похожа на меня и – не совсем. Придвинешься к ней лицом – у самоварной девочки лицо расплывается, становится круглым, как решето, щеки распухают – очень смешно, я так не умею. Откинешь голову назад – лицо у самоварной девочки вытягивается вверх, становится худенькое-худенькое, и вдруг из ее головы начинает расти другая голова, точь-в-точь такая же, только опрокинутая волосами вниз, подбородком вверх, – это еще смешнее!

– Ты что? – говорю я самоварной девочке очень грозно.

Но тут в комнату входит мама и, конечно, портит всю игру!

– Опять ты гримасничаешь перед самоваром! Как мартышка!

– Мне скучно… – обиженно бубню я под нос.

– Поди играть с фрейлейн Цецильхен.

На это я не отвечаю – я жду, пока мама выйдет из комнаты. Тогда я говорю не громко, но с громадной убежденностью:

– Фрейлейн Цецильхен дура!

И еще раз, еще громче – мама-то ведь успела отойти далеко! – я повторяю с удовольствием:

– Цецильхен дура! Ужасная!

Конечно, мне так говорить о взрослых не следовало бы… Но фрейлейн Цецильхен, немка, живущая у нас и обучающая меня немецкому языку, в самом деле очень глупая. Вот уже полгода, как она приехала к нам из Кенигсберга; за это время я выучилась бойко сыпать по-немецки и даже читать, а Цецильхен все еще не знает самых простых русских слов: «хлеб», «вода», «к черту». В своей вязаной пелерине Цецильхен очень похожа на соседского пуделька, которого

водят гулять в пальтишке с карманчиком и с помпончиками. Цецильхен только не лает, как он. У Цецильхен безмятежные голубые глаза, как у куклы, и кудрявая белокурая головка. Кудри делаются с вечера: смоченные волосы накручиваются перед сном на полоски газетной бумаги. Дело нехитрое – так раскудрявить можно кого угодно, хоть бабушку мою, хоть дворника Матвея, даже бахрому диванной подушки.

Разговаривать с Цецильхен скучно, она ничего интересного не знает! О чем ее ни спроси, она только беспомощно разводит пухлыми розовыми ручками: «Ах, боже в небе! Откуда же я должна знать такое?»

А я вот именно обожаю задавать вопросы! Папа мой говорит, что вопросы созревают в моей голове, как крыжовник на кусте. Обязательно ли все люди умирают или не обязательно? Почему зимой нет мух? Что такое громоотвод? Кто сильнее – лев или кит? Вафли делают в Африке, да? Так почему же их называют «вафли», а не «вафри»? Кто такая Брамапутра – хорошая она или плохая? Зачем людям «прибивают» оспу?

Только один человек умеет ответить на все мои вопросы или объяснить, почему тот или другой из них «дурацкий». Это папа. К сожалению, у папы для меня почти нет времени. Он врач. То он торопится к больному или в госпиталь, то он сейчас только вернулся оттуда – очень усталый…

Вот и сегодня, в воскресенье, рано утром папа приехал домой такой измученный – сделал трудную операцию, провел при больном бессонную ночь, – что мама нарезает ему завтрак на кусочки: у папы от усталости не слушаются руки.

Позавтракав, папа ложится поспать в столовой на диване, укрывшись старой енотовой шубой. Все в доме ходят на цыпочках и говорят шепотом, даже горластая Юзефа – моя старая няня, ставшая кухаркой после водворения у нас фрейлейн Цецильхен. Юзефа сидит на кухне, чистит кастрюлю и ворчит на той смеси русского языка с белорусским и польским, на какой говорит большинство населения нашего края:

– Другий доктор за такую пра?цу (работу) в золотых подштанниках ходил бы!

В кухне сидит полотер Рафал, очень осведомленная личность с огромными связями во всех слоях общества. Даже Юзефа считается с мнением Рафала! И он

тоже подтверждает, что да, за такую работу – «Я же вижу! Господи Иисусе, и когда только он спит?» – другой доктор на золоте ел бы!

Свирепо закусив губу и словно желая стереть в порошок кастрюлю – зачем она не золотая, а только медная? – Юзефа яростно шипит:

– Я ско?льки разо?в ему говорила: богатых лечить надо, богатых!

– А он? – интересуется полотер.

– Как глухой! – вздыхает Юзефа. – Никого не слушает. Ко всем бедакам, ко всем бедолагам ездит. А бедаки что платят? Вот что яны платят! – И пальцы Юзефы, выпачканные в самоварной мази, показывают здоровенный кукиш.

– Какая жаль!.. – вежливо качает головой полотер Рафал. – Богатые и бедные – это же две большие разницы!

– А то нет! – отзывается Юзефа.

Сегодня, в воскресенье, Рафал явился без щеток и без ведра с мастикой – только уговориться, когда ему прийти натирать полы. Юзефа принимает его в кухне, как гостя, и он чинно пьет чай, наливая его в блюдечко.

– А може, – говорит Рафал осторожно, – може, не умеет ваш доктор богатых лечить?

– Не умеет? Он? – Юзефа смертельно оскорблена. – А когда Дроздова, генеральша, разродиться не могла, кто помог? Все тутейшие доктора спугалися, – из Петербургу главного профессора по железной дороге привезли, так ен только головой покрутил. «Не берусь, сказал, не имею отва?ги!» А наш взял – раз-раз, и готово! Сделал репарацию (так Юзефа называет операцию) – родила генеральша, сама здорова, и ребеночек у ей живой!

Наступает пауза – слышно только, как старательно полотер Рафал втягивает в себя чай.

– А за гэтых Дроздовых, – говорит он вдруг, – вы, тетечко, не ударяйтеся, пожалейте свою сердцу. Я у их мало что не десять годов подлоги (полы) натираю. У их свою заработанную копейку из горла вырывать надо!..

Папа спит часа полтора. Он накрыт шубой с головой. Рядом с диваном, на стуле, – папины очки. Поникшие дужки их – как оглобельки саней, из которых выпряжен конь.

Терпеливо, как всегда, я подкарауливаю папино пробуждение. Вот он откидывает с головы шубу, мигает невидящими, очень близорукими глазами:

– Ты тут, Пуговица?.. Стой, стой, очки раздавишь! Назрели вопросы? Ну, сыпь свой крыжовник!

Вот тут наступает мой час! Иногда это полчаса, иногда и того меньше, папу ждут больные. Но сколько бы их ни было – это самые чудесные минуты!

Папа отвечает на мои вопросы серьезно, подробно (из чего делают стекло? что такое скарлатина? и т. п.). На иные говорит просто: «Этого я не знаю» (он, оказывается, знает не все на свете!), на другие: «Ну, это глупости!» На вафли-вафри папа хохочет:

– Значит, вазелин делают в Азии?

От иных вопросов папа отмахивается:

– Об этом мы с тобой поговорим, когда у тебя коса вырастет!

Вырастет она, коса моя! Через сто лет!.. Я украдкой трогаю растрепанный кудрявый мох, растущий во все стороны на моей голове, – Юзефа называет это «кудлы»… Неужели мне ждать, пока «кудлы» вырастут в косу?

Не обходится дело и без «домовладельческого вопроса», как называет его папа. У нас с ним это вроде игры.

Давно, когда я еще была совсем маленькая, я как-то спросила:

– Папа! У доктора Петрашкевича свой дом, и у доктора Малиновского, и у доктора Стембо тоже… А у тебя? Почему у тебя нет дома?

Тогда, давно, папа сказал, как всегда – не то в шутку, не то всерьез, – что и у него тоже есть собственный дом, только такой маленький, что его пока еще не видно… Почему? Да потому, что он еще не вырос, вот так, как не успевший еще проклюнуться из земли гриб масленок.

Я тогда же предлагала разные способы заставить папин дом расти побыстрее – например, откапывать его лопатой или поливать из лейки.

– Ну, вот еще! – сказал папа. – Дом – не огурец, он от сырости пропадет!

Потом тема собственного дома как-то забылась, да и я узнала наверняка, что дома не растут, их строят.

Но тут я опять почему-то спрашиваю, будет ли у папы хоть когда-нибудь свой собственный дом.

– Здрасьте, давно не видались! – смеется папа. – Да на что он тебе нужен, этот дом? Тебе жить негде? Ты под дождем мокнешь?

Гремя посудой, в столовую входит Юзефа.

– От, Юзефо, – обращается к ней папа, – хочет моя дочка? (он произносит по-белорусски: «дочка?»), чтобы у меня свой дом был.

– А что ж? И умница! – хвалит меня Юзе-фа. – Хоть малюсенький, да свой. Коровку бы завели, курочек, огородик еще… свое молочко, свои яички…

– Как думаете, Юзефо, будет у меня свой дом?

– У вас бу-у-удет! – словно проснувшись от мечтаний, зловеще цедит Юзефа сквозь зубы. – Вчерась опять такий файный (шикарный) пан приходил вас к больному звать, а вас и не було – у каких-то бедаков всю ночь танцевали!

– Я там не танцевал, – смеется папа. – Я сделал там очень редкую операцию, Юзефо! – И папа добавляет, словно уж для самого себя: – Красиво сделал! Как французские хирурги говорят: элегантно.

– Красивую репарацию… Алегантную… – Юзефа еле сдерживает возмущение. – А заплатили они вам?

– Они хотели заплатить, – мягко говорит папа.

– А вы руками замахали: не надо, не надо?

– Они сказали: «Нехай пан доктор подождет хвилечку – мы в ссудную кассу сбегаем, самовар заложим. И заплатим пану доктору полтинник». Что же, по-вашему, надо было взять у них этот полтинник?

– А чего ж! – не сдается Юзефа. – Як будут у них деньги, они самовар обратно из ссудной кассы выкупят.

Тут папа сердится:

– Стара?я уж вы, Юзефо, а говорите такое глупство! Когда вы это видали, чтоб из ссудной кассы вещи обратно возвращались? Что к ростовщику в лапы попало, то уж у него и останется! А вы хотите, чтоб я у людей последнее отнимал?

Юзефа не отвечает папе. Она обращается ко мне.

– Будет у твоего батьки дом! – говорит она с горечью. – Будет у него дом, побачишь! На три аршина, хороший домик…

Что-то в ее словах мне смутно не нравится… Так не нравится, что вот – расплакалась бы… Но в эту минуту раздается пушечный выстрел: это с горы, над городом, гремит старинная пушка, ежедневно возвещающая жителям полдень.

Папа срывается с дивана:

– Двенадцать часов! Меня в госпитале ждут!

Дальше – вихрь! Голову – под кран, очки – на нос, схватил пальто и сумку с инструментами, нахлобучил шляпу – и нет папы! Улетел!

– Не человек! – говорит Юзефа. – Антипка!

Я обижаюсь: Антипкой в нашем крае зовут нечистую силу – домового, чертей.

– Ты за что моего папу Антипкой зовешь?

– А чи ж не Антипка? Был и сгинул!

Мы с мамой и Юзефой смотрим в окно, как папа садится на извозчика. Он уже занес ногу на подножку пролетки, но вдруг, пошарив в карманах пальто, почти бегом возвращается домой.

– Что-нибудь забыл, – догадывается мама.

Юзефа беззвучно трясется от смеха:

– У яво завсегда: что не на ем растет – забудет!

И верно! Папа забыл палку и носовой платок. Палки дома не оказывается – видно, он оставил ее там, где провел ночь. Зато с носовым платком ложная тревога: мама положила ему по платку в оба кармана пиджака. А он искал платок – и, конечно, не нашел! – в карманах пальто.

Мы стоим в передней, улыбаясь папиной рассеянности, но уже над моей головой раздается голос фрейлейн Цецильхен:

– А теперь, чтобы наша девочка не скучала, мы будем немножко веселиться!

И Цецильхен уводит меня за руку из передней. За нашей спиной я слышу мрачный голос Юзефы:

– Ухапил волк овечку…

Приведя в нашу комнату, фрейлейн Цецильхен усаживает меня на стул, а сама садится на другой.

– Альхен, – говорит она взволнованным голосом, – вчера тебя укладывала спать Узефи (так Цецильхен называет Юзефу). Ты помолилась вчера на ночь, Альхен?

– Н-не помню… – отвечаю я и сильно краснею при этом, потому что я, конечно, не молилась.

С тех пор как к нам приехала фрейлейн Цецильхен, она завела новую моду: перед тем как заснуть, я должна стать на колени в своей кровати и сказать по-немецки молитву:

День прошел. Иду ко сну.

Крепко глазки я сомкну.

Боже! Взгляд твоих очей

Над кроваткой будь моей!

Когда меня укладывает спать сама фрейлейн Цецильхен, избежать молитвы невозможно. Когда же со мной Юзефа, она относится к этому так же критически, как ко всему, что исходит от «немкини». Незачем «болботать» на непонятном языке неизвестно что! Ну, а папа и мама сами не молятся и, конечно, не учат этому и меня.

– Та-ак… – Фрейлейн Цецильхен печально качает головой. – Значит, ты вчера не молилась на ночь… Не болтай ногами, это неприлично!.. Ну, а какой сегодня день, Альхен, это ты знаешь?

– Воскресенье.

– Да, – подтверждает фрейлейн Цецильхен торжественно, – сегодня воскресенье. Божий день! В вашем доме он, правда, не соблюдается – твой папа, да простит ему Бог, работает в праздники, как в будни…

– Если папа не будет работать в праздники, его больные умрут!

Фрейлейн Цецильхен, вероятно, ради воскресенья, Божьего дня, пропускает мимо ушей мою «русскую грубость».

– Да, не все соблюдают Божьи дни, – говорит она, устремив глаза в потолок. – Но я соблюдаю. И я сегодня была в нашей кирхе. Ах, пастор Бринк сказал такую проповедь, такую проповедь!.. Все плакали!

Фрейлейн Цецильхен и сейчас готова заплакать. Глаза ее краснеют, нос тоже, уши тоже.

– Знаешь ли ты, дитя, про жертвоприношение Авраама? (Фрейлейн Цецильхен произносит по-немецки: «Абрахам».)

– Нет, – отвечаю я угрюмо. – Не знаю.

– Боже, прости этим людям!.. Ребенок не знает даже Библии! Ну, я тебе сейчас расскажу. Жил-был человек, его звали Абрахам. У него был один-единственный сын, замечательно удачный юноша, Исаак. И Абрахам любил своего сына больше всего на свете!

Я слушаю уже почти с интересом.

– А бог, милый, добрый Господь Бог, любил Абрахама больше всех людей! Потому что Абрахам был очень, очень хороший и порядочный человек… И Бог сказал: «Абрахам! Я возлюбил тебя больше всех людей, и я приказываю, чтобы ты принес мне в жертву своего единственного, своего возлюбленного сына Исаака!»

– Это как же – в жертву? – недоумеваю я. – Что это значит: принеси мне в жертву своего сына?

Фрейлейн Цецильхен объясняет восторженным голосом:

– Это значит: «Убей своего сына! Убей его во славу своего Господа!»

– И этот Абрахам убил сына? – Я еле выговариваю эти слова, до того мне страшен их смысл.

– Да! Абрахам взял своего сына, связал его по ногам и рукам, как жертвенное животное, и уже занес было над ним нож, чтобы заколоть его, но…

– Но… – повторяю я невольно с ужасом и надеждой.

–…но Бог послал своего ангела, и тот остановил руку Абрахама, занесенную над сыном! – торжествующе заключает рассказ фрейлейн Цецильхен.

Я шумно вздыхаю. Мне легче – не убил он сына! Но я не все понимаю в этом рассказе.

– А зачем это было нужно Богу, чтобы Абрахам убил своего сына?

– Бог хотел проверить, как сильно предан ему Абрахам. И пастор Бринк сегодня в своей проповеди сказал нам: «Мы все должны быть готовы отдать богу самое дорогое, самое любимое…» Не дергай себя за ухо – воспитанные дети так не делают! Сложи руки на коленях.

Я молчу. Я думаю. Потом говорю с железной уверенностью:

– Никогда в жизни мой папа не связал бы мне руки и ноги, как жертвенному животному, чтобы убить меня! И мама тоже никогда!

– Твои родители, Альхен, не очень верят в Бога… Но ты должна верить! Должна!

«Должна, должна»… Как я могу верить в него, когда он такой ужасный! На картинке в молитвеннике у фрейлейн Цецильхен Бог нарисован сидящим посреди облаков, и бородища у него похожа на взбитые сливки: белая, густая, пышная. Глаза у этого Бога пронзительные и злые.

Фрейлейн Цецильхен рассказывает мне о нем каждое воскресенье, после возвращения из кирхи, и всегда что-нибудь нехорошее! То он разрушил два города, то превратил женщину в соляной столб, то выкинул еще какую-нибудь злую шутку… Фрейлейн Цецильхен сама видела, как Бог убил на месте одного парня! И, думаете, за что? Была гроза, сверкала молния, гремел гром, – в общем, самое простое дело, но Цецильхен – уверяет, будто гроза – это голос самого Бога… И вот какой-то озорной парень, стоя под деревом, вдруг, вместо того

чтобы смиренно молиться, громко захохотал (Цецильхен видела, как сверкали его белые зубы) и крикнул… Ох, что он крикнул!.. И сразу молния ударила в то дерево, под которым он укрывался, дерево рухнуло и придавило парня насмерть!

– А что он крикнул? За что Бог его убил?

– О господи боже, что он крикнул! – И, закрыв в страхе глаза, Цецильхен говорит очень тихо: – Гремел гром, а парень крикнул со смехом: «Боженька играет в кегли!»

За такой пустяк – и смерть парню?

– Это электричество! – пытаюсь я объяснить фрейлейн Цецильхен. – Мне папа говорил: молния – это электричество… и в грозу не надо стоять под деревьями…

Но разве Цецильхен что-нибудь втолкуешь! Всяких страшных историй Цецильхен рассказывала мне много. Но такого, как с этим Абрахамом, еще ни разу! «Убей своего сына, потому что я тебя очень люблю!» Бедный Абрахам наплакался, наверно. И Исаак этот, горемычный, тоже, верно, плакал и кричал: «Не надо! Не надо меня убивать!» Хорошо еще, что ангел успел отвести Абрахаму руку с занесенным ножом! А вдруг ангел зазевался бы? Ведь даже поезда опаздывают! Часы и те отстают! Нет, нет, очень злой этот Бог, очень противный! И я его терпеть не могу – вот!

Приблизительно так я выкладываю фрейлейн Цецильхен. Она печально вздыхает и гладит меня по голове:

– Бедное дитя… Бедное, бедное дитя…

Но я словно удила закусила. Почему это такое я вдруг «бедное дитя»? У меня папа – не Абрахам, он меня ни за что не убьет!

– Нет, ты бедное дитя, – говорит Цецильхен взволнованным голосом, – потому что людей, которые не верят в Бога, сажают в тюрьму. И тебя тоже посадят в тюрьму, когда ты вырастешь… если только ты не поймешь, какие глупости ты говоришь… Ну, а теперь будем немножко веселиться!

И вот мы с фрейлейн Цецильхен веселимся. Мы поем песенку, весь смысл которой построен на каламбуре: по-немецки слово «фергиссмайннихт» означает и «незабудка» и «не забудь меня».

Мы поем:

Расцветала над горой

Фергиссмайннихт (незабудка)!

Я сказала: «Милый мой —

Фергисс-майн-нихт (не забудь меня)!»

Потом, взявшись за руки и составив хоровод из двух человек, мы кружимся и поем:

Рингель, рингель, розенкранц!

Рингель, рингель, райн!..

Цецильхен поет таким тоненьким голоском, что кажется – вот-вот он обломится, как острие иголочки! Мы кружимся сперва влево, потом вправо, потом опять и опять в обратные стороны. Конца этому веселью не предвидится. «Рингель, рингель, розенкранц! Рингель, рингель, райн!»

Наконец у Цецильхен начинает, слава богу, кружиться голова. Прикрыв глаза рукой с изящно оттопыренным мизинчиком, Цецильхен грациозно опускается в кресло. Но только я хочу воспользоваться этой удачей и исчезнуть, как Цецильхен раскрывает глаза и снова вцепляется в меня, как кошка в мышь.

– Ах, нэ-э! Ах, нэ-э! – говорит она певуче и перехватывает меня у двери. – Теперь я научу тебя говорить одно красивенькое-красивенькое стихотвореньице!

Вид у меня, вероятно, несчастный. Я явно не интересуюсь «стихотвореньицем». Поэтому Цецильхен пытается воздействовать на мое честолюбие:

– Придут гости – и ты будешь говорить это перед ними… И все скажут: «Ах, какая умная девочка!»

Я напоминаю ей, что гости были вчера и ничего я перед ними не читала. А если нужно, могла бы прочесть «Песнь о вещем Олеге»… Пожалуйста!

– Но ведь это по-русски! – не унимается Цецильхен. – А я тебя научу немецкому стихотвореньицу… Ну, будем же веселиться!

«Стихотвореньице» фрейлейн Цецильхен, если перевести его на русский язык, звучало бы примерно так:

Люби, пока любви достанет!

Люби, пока хватает сил!

Ведь день настанет, день настанет —

И ты заплачешь у могил!

– Да, да, – со вздохом поясняет Цецильхен. – Когда умерли мои мама и папа, я так плакала, что все даже удивлялись! Вот увидишь, когда твои папа и мама умрут, ты тоже будешь очень сильно плакать.

Я не хочу, чтобы мои папа и мама умерли! Я соплю носом, я сейчас зареву на весь дом… Поэтому фрейлейн Цецильхен переводит веселье в другое русло.

– Хочешь, я покажу тебе фотографии в моем альбоме?.. Вот это – дядя жены моего двоюродного брата. Очень богатый господин – имеет собственное кафе в Мемеле! И кафе называется так красиво: «В зеленом саду»! И каждый день, с двенадцати часов, там играет музыка! Ах, совсем как в театре!

Это тянется долго…

– А вот фрау директор «Высшей школы дочерей», где я училась в Кенигсберге. Ах, фрау директор была такая добрая!.. Видишь, у нее брошка? Настоящие бриллианты!

Два раза я отпрашиваюсь в уборную и запираюсь там, словно за мной гонятся все эти незнакомые немцы и немки, чужие зятья и племянницы с выпученными глазами и настоящими бриллиантами.

Так проходит часа два.

И вдруг звонок у входной двери, длинный, громкий, – папин звонок. Папа входит в комнату в ту минуту, когда фрейлейн Цецильхен со слезами в голосе рассказывает, как у ее дяди в Инстербурге был пожар и в горящем доме забыли чудную, очень дорогую куклу, но добрый пожарный вынес куклу из огня! И доброму пожарному дали «на чай» целую марку!

– Едем! – говорит папа. – За мной прислали бричку от Шабановых из Броварни. Едем к Рите и Зое. Хочешь, Пуговка?

Хочу ли я прервать веселье с фрейлейн Цецильхен! Я чувствую себя той куклой, которую папа, как добрый пожарный, вызволил из огня!

Мама и Юзефа помогают мне быстро вымыть руки, надеть чистенькое платье, вдевают свежий бант в мои «кудлы».

Мама напутствует меня:

– Веди себя хорошо. Не ешь много сладкого… Яков, когда будете уезжать оттуда, посмотри, чтоб ребенок не был разгоряченный, потный.

– Ногами не тупоти, – вторит маме Юзефа, – новую обувку стопчешь… Не садись абы куда – посмотри прежде, чисто или нет…

Фрейлейн Цецильхен берется за свою шляпку:

– Должна ли я сопровождать вас, господин доктор?

Косясь краем глаза на мое перепуганное лицо, папа отвечает с такой изысканной вежливостью, словно он – тот величественный господин из альбома Цецильхен, владелец собственного кафе в Мемеле, под прелестным названием «В зеленом саду», где с двенадцати часов играет музыка:

– Благодарю вас сердечно, фрейлейн, но в бричке всего два места.

И мы уезжаем… Рингель, рингель, розенкранц!

Глава вторая. Спектакль-концерт

Броварня – пивоваренный завод верстах в восьми – десяти от города. Владельцы завода, Шабановы, давние наши знакомые и папины пациенты. Но к подружкам моим Зое и Рите Шабановым я попадаю не часто, только когда у них в доме кто заболеет: тогда за папой присылают бричку.

Мы едем втроем: папа, я и шабановский кучер Ян, которого папа называет «Ян Молчаливый». Даже с папой, которого Ян уважает, – папа вылечил его жену, – Ян ни в какие разговоры не вступает, ограничиваясь неопределенными междометиями. Он и не поворачивается к нам лицом – нам видна только спина его парусинового балахона на козлах брички.

– Как живете, Яне? Ничего? – спрашивает папа.

– Эге…

– Жена здорова?

– Ага…

– А дети? Небось большие уже?

– Ого-го!

Иногда, впрочем, по каким-то неожиданным поводам Ян вдруг произносит целые фразы. Например, у одного из прохожих на улице ветер сорвал с головы шляпу, шляпа катится по земле, а сам прохожий, как все люди в таких случаях, хватается обеими руками за голову.

– От-то дурень! – укоризненно говорит Ян. – Шляпу держал бы, не голову!..

Но обычно высказывания Яна обращены непонятно к кому. Вернее всего, он говорит сам с собой, отвечает собственным мыслям. «Эх, – вдруг говорит он в пространство, – не велики те псы, не велики и собаки!» или еще что-нибудь в этом же роде. Чаще же всего Ян негромко и однообразно напевает, монотонно, в одну дуду:

М-та, ту?-та,

М-та, тута, тула-юла!

М-та, ту-та, тула-ю!..

Но это пение Ян разрешает себе лишь за городом, в городе же он песен не поет – он знает приличия. Раз как-то, проезжая по пустынной окраинной улице, папа спросил Яна, почему он сегодня не поет. На это Ян не ответил ни «еге», ни «ага», а неожиданно спросил:

– А я пьяный или что!

Мы едем. Бричку трясет на булыжной мостовой (резиновых шин мы еще не знаем). В бричке что-то стонет, скрипит, иногда екает. Но мне кажется, что мы мчимся со сказочной быстротой! Одна за другой остаются позади нас улицы, костелы, губернаторский дворец, скверы. Бессильно отстал от нас золоченый крендель турецкой булочной Чолакова, кабанья голова над колбасной Китца и огромкое изображение пенсне с синими стеклами над магазином оптика Малецкого. Вот проехали и аптеку «Под лебедем». Кажется, будто даже «ринншток» – сточные канавы вдоль тротуаров (канализации в городе тоже еще нет) – быстрее мчат свои грязные, мутные воды нам вдогонку.

Бричка наша с грохотом несется все дальше и дальше, и вдруг наступает тишина! Бричка не остановилась, но грохот умолк – замолчала под колесами булыжная мостовая: кончился город, бричка, бесшумно подпрыгивая, катится по мягкой земле проселочной дороги.

По обеим сторонам – луга, начинающие зеленеть. Краски этой ранней зелени так чисты, так обновочно-нарядны, как платье из нестиранного еще ситца. Мир, такой тесный в городе, сразу становится огромным и сладко пахнет оживающей землей. Прямо над нашими головами плывет в небе облачко, белое, круглое, как кочешок цветной капусты, только прожилки в нем не зеленые, а голубые: из

небесной синевы.

– Дыши! – командует папа. – Глубже дыши! До самого пупа!

Я дышу добросовестно, даже кладу руку на живот, чтобы проверить, доходит воздух до пупа или нет. Кругом так тихо, так солнечно и радостно, что я даже забываю задать папе неотложный вопрос: если земля вертится, то почему мы не сваливаемся с нее в те минуты, когда оказываемся повернутыми на ней головой вниз? И кстати: почему мухи ходят вниз головой по потолку и не падают?

Ян на козлах тихонько тянет: «М-та, ту-та, тула-юла…»

Минут десять мы стоим: в бричке что-то разладилось. Ян чинит. Бричка остановилась около чьего-то небольшого сада. Через забор лезут весенние веточки крыжовника с царапающимися, как у котенка, коготками.

И вот мы въезжаем в широкий мощеный двор Шабановых. Наш приезд вызывает, как всегда в деревне, шумный переполох и суетню. Люди выглядывают из окон, топочут, сбегая по лестнице, хлопают дверями, бегут с веранды к нашей бричке. Тут же вертятся и весело лают все броварнинские собаки. И даже издали смотрит на эту суматоху, хотя и с очень презрительным видом, броварнинский аист. Удивительная птица этот аист: совсем ручной, запросто приходит на веранду, никого не боится. По-русски он не понимает, только по-польски. Его и зовут ласковым польским словом «боцюсь», это значит «аистенок».

– Приехала! Умница! – бросается мне на шею Зоя.

Рита огревает меня ладонью по спине:

– Молодчина! Я знала, что ты приедешь!

– Это гениально! Просто гениально! – тявкающим голосом надрывается Зои-Ритина тетя Женя.

В доме Шабановых, как во всех домах на свете, свой собственный запах: пахнет солодом – от пивоваренного завода, яблоками – из кладовки, свежим тестом и корицей – из кухни и немного – собаками. От одного приезда в Броварню до

другого запах этот забывается, и его узнаешь, как старого знакомого. Есть, впрочем, и еще одно, что я успеваю забыть между поездками к Шабановым, а приехав, всякий раз вспоминаю с огорчением: Зоя и Рита ревнуют меня друг к другу.

Еще по дороге в дом хорошенькая, кудрявая Зоя успевает язвительно шепнуть мне:

– Ты, конечно, только к своей ненаглядной Риточке приехала!

А смуглая Рита, мрачно набычившись, словно она собирается бодаться, больно щиплет мою руку:

– Помни: или я, или Зойка!

Как будто нельзя играть всем троим вместе!

– Нет, это провиденциально! Просто провиденциально! – восторженно тявкает тетя Женя. Золотое пенсне слетает с ее носика и повисает на шнурочке.

Тетя Женя целый год училась в Петербурге на Бестужевских курсах, и наша Юзефа уверяет, будто тете Жене там «мозги спортили». Я не совсем представляю себе, как это можно испортить человеку мозги. Сломали? Сунули туда гвоздь или шпильку? Но одно несомненно: тетя Женя сыплет всегда непонятными словами, никто не говорит так, как она.

– У нас сегодня спектакль-концерт! – объясняет тетя Женя папе. – Я, знаете, написала для них маленькую пьеску – называется «Три рыцаря». Историческую. Из жизни Средних веков… Рыцаря Счастливой Звезды будет играть Зоенька, Рыцаря Львиное Сердце – Риточка. А вот Рыцаря Печального Образа должна была играть соседская девочка, но она час тому назад заболела. Можете себе представить, наш спектакль оказался под угрозой! – Тетя Женя всплескивает руками и взвизгивает: – Фатально! Просто фатально!

Теперь, с моим приездом, все устраивается: Рыцаря Печального Образа буду играть я. Меня уверяют, что роль маленькая, выучить ее легко, можно даже в крайнем случае написать роль на клочке бумаги и читать ее по «шпаргалке». От

этого я, конечно, гордо отказываюсь – я выучу наизусть, не бойтесь!

– А ты не испугаешься перед публикой? – волнуется тетя Женя.

– Не испугаюсь!

Откуда у меня такая нахальная уверенность, непонятно. Я ведь не только никогда до этого не играла ни в каких спектаклях, но и почти не бывала в театре. Когда я была еще совсем маленькая – мне не было пяти лет, я еще не умела читать, – меня однажды взяли в театр на праздничный утренник. Мама сказала: «Будут представлять «Бедность не порок».

Я поняла это как «Бедный Снепорок».

В театре мне больше всего понравилось, что поехали мы туда на извозчичьих санках, а в антракте мама дала мне шоколадку. Неизгладимое впечатление произвело на меня, когда стали длинной палкой зажигать газовые горелки – электричества в то время в городе еще не было, квартиры освещались керосиновыми лампами или свечами. Но в ту минуту, когда занавес – он казался мне до этого неподвижной стеной – вдруг толчками и рывками полез вверх, на меня напал какой-то восторженный столбняк, как если бы я увидела, что дома на улице пустились в пляс или люди полетели, как птицы, по воздуху! Мама потом рассказывала, что я весь спектакль просидела ошеломленная, даже вопросов не задавала никаких.

Поняла я в пьесе очень мало. Запомнилось мне, как Коршунов говорил Любе: «Я вас буду в люлечке качать! У меня жена в золоте ходила!» Дома на вопрос папы: «Ну, что было в театре?» я ответила: «Очень…» Потом попыталась рассказать ему:

«Люба там была. Она хотела на Мите жениться. А старик пришел – ужасно богатый! – и говорит ей: «Я вас буду в люлечке качать, у меня жена в золотых подштанниках ходила…»

Вот когда сказались Юзефины представления о богатстве!

Потом, пристроившись поудобнее к папиному плечу, я добавила с огорчением: «А бедного Снепорока не показали почему-то…» И заснула.

А вот сейчас мне придется самой играть на сцене! Играть Рыцаря Печального Образа в пьесе «Три рыцаря» сочинения Зои-Ритиной тети Жени. Роль в самом деле несложная, через десять минут я знаю ее назубок. Я должна выйти в отгороженную часть гостиной – это называется «на сцену» – и, поклонившись зрителям, сказать «грустным-грустным» голосом:

«Я – Рыцарь Печального Образа. Я никогда не смеюсь. Я всегда страдаю и плачу. Даже цветы при виде меня вянут и с деревьев осыпается листва. Жизнь потеряла для меня всякую цену с тех пор, как моя обожаемая супруга Изабелла безвременно сошла в могилу».

Потом опять поклониться и уйти. Вот и весь Рыцарь Печального Образа! Сказать по правде, я немножко разочарована. Я думала, что буду настоящий рыцарь: мне дадут латы и меч, я буду совершать подвиги… У нас дома есть Пушкин, и я не один раз перечитала «Скупого рыцаря». Вот бы это сыграть, как сидит отвратительный старик в подвале при свечах и считает свои страшные деньги!.. Или прочитать стихотворение «Жил на свете рыцарь бедный»! Я, правда, не очень понимаю это стихотворение, но, когда начинаю читать, мне чудится будто я плыву в лодке по реке… А тетя Женя сочинила, чтоб я «грустным-грустным» голосом сказала, что ах, ах, как печально, умерла моя Изабелла… Такое впору бы сочинить нашей фрейлейн Цецильхен! «Фергисс-майн-нихт!»

Пока идут приготовления к спектаклю, я пробираюсь в столовую, где сидит мой папа в обществе Владимира Ивановича и Серафимы Павловны Шабановых.

– Ну-с, – говорит папа, – зачем я вам сегодня понадобился?

Серафима Павловна, которая перемывает чайную посуду, отрывается от этого дела и, прижимая к груди мокрое чайное полотенце, отвечает папе грустно-грустно, как Рыцарь Печального Образа:

– Яков Ефимович… Для меня прежде всего бог, а потом – сию минуту! – вы. Сколько уж раз вы моих детей спасали, спасите и теперь. Чем хотите лечите, только вылечите!

– Да от чего их лечить, Серафима Павловна, голубушка? Здоровые дети…

Серафима Павловна опускается на стул и начинает плакать. Не найдя своего носового платка, она вытаскивает платок из кармана мужа и горестно сморкается.

– Яков Ефимович! – говорит она с легкими всхлипываниями. – Ни-ка-ко-го аппетиту нет у детей! Не едят ни-че-го! По десять копеек плачу им за каждый стакан молока, только пусть пьют! Вот до чего дошло!

Владимир Иванович высоко поднимает плечи и ожесточенно пыхтит трубкой.

– Умалишотка! – Он сердито кивает папе на жену. – Восемь стаканов молока в день выдувают дети, – по сорок копеек каждой за это. Да у меня на заводе рабочий того не получает!

Владимир Иванович очень волосатый. Такое впечатление, что волосы его уже и девать некуда, они запиханы куда попало: в нос, в уши… А сросшиеся брови – как толстая, мохнатая гусеница, изогнувшаяся над глазами.

Серафима Павловна, положив круглый, как яблоко, подбородок на круглую руку, скорбно смотрит на папу:

– Яков Ефимович!..

– Ну хорошо… – Папа достает из кармана записную книжечку и карандаш. – Прошу вас, Серафима Павловна, перечислить мне по порядку, что именно ваши дети съедают за день.

– Утречком, – старательно припоминает Серафима Павловна, – подают им в постельку парного молочка…

– Выпивают?

– По десять копеек за стакан… Это в восемь. А в девять – завтрак: какао, яички – свеженькие, из-под курочек, – сметана, творожок, сыр, ветчина… И обязательно одно горячее блюдо!

– Это в девять, – отмечает папа в книжечке. – А дальше?

– В одиннадцать опять молоко…

– По гривеннику за стакан?

– Иначе не пьют! – вздыхает Серафима Павловна. – А в час – обед. Обыкновенный: три-четыре блюда. В три – опять по стаканчику молочка. А в пять – чай… ну, булочки сладкие, печенье, варенье, фрукты свежие, летом, конечно, ягоды…

– В одиннадцать – молоко, в час – обед, в три – опять молоко, а в пять – чай, – записывает папа.

– А в семь – ужин. В девять – молоко, и спать… И все!

У папы дрожат губы и подбородок: это он удерживается от смеха.

– Итого, – заключает папа, – они у вас едят каждые два часа.

– Едят они! – Глаза Серафимы Павловны наливаются слезами. – Кусочек того, капельку этого, здесь глоточек отопьют, там вилкой поковыряют, размажут, раздрызгают по тарелке, и все!.. Яков Ефимович, дорогой, ну скажите, вы ученый человек, чего им еще нужно, детям моим?

И вдруг папа начинает хохотать. Он хохочет, нагнув голову, словно собираясь долбануть носом собственное колено. Он весь сотрясается и плачет крупными слезами, слезы застилают его очки, как дождевые капли – оконное стекло.

– Чего им еще нужно при таком питании? – переспрашивает он сквозь смех. – Второй желудок им нужен! Не может один желудок все это переварить!

– Я ж говорю: умалишотка! – хохочет и Владимир Иванович.

– Вот что, Серафима Павловна… – Папа уже серьезен, даже строг. – Вы хотите от меня совета? Так вот: уменьшить детям порции вдвое и кормить их реже. Восемь

раз в сутки даже грудных детей не кормят.

Серафима Павловна внимательно слушает. Однако папино предложение ей, видно, не нравится, у нее какая-то другая мысль.

– А что, Яков Ефимович, – пододвигает она свой стул, как бы собираясь поговорить о чем-то более секретном, – что, если я буду звать к обеду, к ужину двух-трех, ну, вроде гостей… хотя бы детей наших рабочих? Понимаете, для компании, для аппетиту, а? Как вы скажете?

– А что ж! – одобрительно отзывается папа. – У тех-то ребят аппетит, наверно, хороший – может, ваши с ними вместе лучше есть будут.

– Ты придумаешь! Умалишотка! – недовольно ворчит Владимир Иванович. – Босоту рябчиками кормить!

– Зачем же рябчиками? – оправдывается Серафима Павловна. – Им простое кушанье дадут – картошку, селедку… Только за одним столом сидеть будут, вот и все.

– Ну, кончен вопрос! – Папа хлопает себя рукой по коленке. – Вы хотели, чтобы я мамашу вашу посмотрел, вот и покажите ее. А потом – видите там, за забором? – меня еще другие больные ждут.

Но тут Владимир Иванович предостерегающе поднимает мохнатый, как репейник, указательный палец:

– Яков Ефимович! Помните наш уговор: хотите моих рабочих лечить, – ваше дело! Только ваше!

– А чье ж еще? – удивляется папа.

– Не мое! – резко отрубает Владимир Иванович.

– А конечно ж, не ваше. Я врач, мне и лечить…

Брови Владимира Ивановича шевелятся, как щетки. Вот-вот смахнут моего папу, как метелка соринку.

– А платить? – грозно допытывается Владимир Иванович. – Я вам сто раз говорил: я не буду!

– А я с вас когда-нибудь за лечение ваших рабочих платы требовал? Требовал, да? – говорит папа уже с раздражением.

Серафима Павловна ласково кладет свою руку на папину и нежно заглядывает ему в глаза:

– Яков Ефимович, ну зачем вы это делаете? Такой доктор, господи… Вам бы генерал-губернатора лечить, а вы с нищими возитесь. На что они вам дались?

– Серафима Павловна! Я присягу приносил!

– Прися-а-гу? – недоверчиво переспрашивает Владимир Иванович, высоко поднимая гусеницу своих бровей.

– Присягу, да! – подтверждает папа. – Когда Военно-медицинскую академию кончал. Торжественную присягу: обещаю поступать так-то и так-то. И был в той присяге пункт. Слушайте! – Папа поднимает вверх указательный палец, заляпанный йодом палец хирурга с коротко подстриженным ногтем: – «…И не отказывать во врачебной помощи никому, кто бы ко мне за ней ни обратился». Вот!

Я все еще сижу в уголке дивана, обо мне забыли. Я смотрю на моего папу. Он стоит между супругами Шабановыми, худой, подвижный, с печальными и насмешливыми глазами, с поднятым вверх разноцветным указательным пальцем… Отличный папа!

Но Владимир Иванович не сдается:

– Ну хорошо, присяга там, пято, десято… Но ведь, говорят, вы всю Новгородскую слободку лечите, а там же одни воры живут! Во-ры! Что же, для вас и вор – человек?

– Так ведь на лбу-то у него не написано, вор он или граф, – говорит папа. – Пришел, зовет меня – я к нему еду… А нищета у него, скажу я вам, такая же, как у ваших рабочих… И знаете, Владимир Иванович, ведь если бы у него был выбор, вором быть или графом, думаете, он бы воровство выбрал?

– У него другой выбор, – упрямо настаивает Владимир Иванович, глядя в пол, – работать или воровать!

– Так ведь не для всех же есть она, работа! – почти кричит папа. – А для кого работы нет, для тех один выбор: подыхай с голоду или воруй!

– Так… – грозно говорит Владимир Иванович. – Воров, значит, жалеете?

– Нет! – твердо отвечает папа. – Если вы, Владимир Иванович, вы, богатый человек, украдете, – в тюрьму вас! Без жалости! Украду я, человек с образованием, с профессией, – и меня в тюрьму! Вот, – папа показывает на меня, – дочка моя знает: нитки чужой, копейки тронуть не смеет! Она сыта, одета, в тепле, ее воспитывают, учат… Если она украдет, я первый полицию позову! Но если темный, безграмотный человек, для которого нигде нет работы, украдет кусок хлеба для своих голодных детей…

– Ну? – рычит Владимир Иванович.

– Сам встану и собой его от полиции заслоню! Понимаете? Сам!

Серафима Павловна бестолково поворачивается то к мужу, то к папе:

– Ну что, в самом деле… Володя! Яков Ефимович! Как маленькие! Только сойдетесь – и начинаете спорить… И ведь каждый раз!

В эту минуту меня приходят звать: тетя Женя одевает участников спектакля. Сейчас она превращает в старика того мальчика, который будет читать пролог к пьеске «Три рыцаря». Тетя Женя старательно приклеивает ему яичным желтком длинную бороду из ваты. Я пока сажусь в сторонке. Думаю о том, что я только что слышала, – о папиных словах, – и вдруг мне вспоминается… Такое неприятное, такое досадное!..

Был у нас с папой случай, очень нехороший. У хозяев дачи, где мы жили летом, был огромный фруктовый сад. Хозяин сдавал сад в аренду садовнику. С самой весны садовник, его жена и все дети, кроме младшенького, грудного, работали от зари до зари, чтобы собрать за лето побольше фруктов, – они их продавали. Как-то соседские дети позвали меня с собой «воровать яблоки», то есть потихоньку от садовника собирать под яблонями зеленую подгнившую падалицу. Я принесла домой в подоле пять зеленых яблочек с гнилью на боку, твердых, как камешки. Дома папа только что приехал из города и сел на балконе обедать. Я вбежала, с торжеством показала свои яблоки.

– Это я сама! Сама украла!

Папа встал из-за стола:

– Что такое? Ты украла?

Мой восторг перед собственным молодечеством сразу обмяк.

– Пойдем! – Папа стал спускаться по ступенькам балкона.

Я поплелась за ним. Яблочки в моем подоле глухо постукивали друг о друга здоровыми половинками. Мои сандальки, легкие и быстрые, вдруг стали тяжелыми, как ведра…

Мы подошли к шалашу садовника. Вся семья уставилась на нас вопросительно и даже встревоженно: у папы был очень зловещий вид.

– Ну? – сказал мне папа. – Говори!

– А что говорить? – прошептала я.

– Сама должна знать… Ну?

Я высыпала яблочки из подола:

– Вот. Это ваши. Я взяла…

Я посмотрела на папу: все? Папа отрицательно мотнул головой: нет, не все. Я поняла, чего он хочет, но – ох, как это было трудно сказать!

– Простите, пожалуйста… Я больше никогда…

Тут я заревела, громко, в голос. Слезы бежали из глаз, в горле что-то само икало. Сейчас же за мной заплакали дети садовника – верно, очень уж я аппетитно ревела! – и даже самый маленький, дремавший на коленях у матери, заорал так, словно его положили на раскаленную сковородку!

Попрощавшись с садовником и его женой, папа пошел домой. Я шла за ним, как трусит нашкодивший цуцик с виновато опущенным хвостом.

– Папа… Папочка…

Но он не оборачивался. Как глухой.

– Вот что, – сказал он наконец, – запомни, пожалуйста, на всю жизнь: ни одной чужой копейки, нитки чужой, куска чужого никогда не смей брать! А теперь – не ходи за мной… И не попадайся мне на глаза… ну, хоть до вечера. Мне на тебя смотреть противно.

Невеселые эти воспоминания я перебираю в уме, сидя в Зои-Ритиной детской, в ожидании, пока тетя Женя станет превращать меня в Рыцаря Печального Образа.

Тетя Женя совсем не похожа на свою сестру Серафиму Павловну. Та – крупная, полная, устойчивая, как массивное, неподвижное кресло. А тетя Женя худая, стремительная, как пустая качалка, которую кто-то, идя мимо, задел ногой и она качается на холостом ходу. Все у нее валится из рук, пенсне поминутно слетает с носа, на руке звенит браслетка из серебряных гривенников. И говорят обе сестры по-разному. Серафима Павловна медленно, басовито воркует, как сытый голубь, а тетя Женя повизгивает, оглушая собеседника непонятными словами.

Но вот усилиями тети Жени мальчик превращен в глубокого старика с длинной белой бородой – как у Бога в молитвеннике фрейлейн Цецильхен!

– Только, Гриша, заклинаю тебя всем святым, – просит тетя Женя, – не трогай бороду руками, чтобы не отвалилась!

Гриша божится, что не дотронется до бороды, и успокоенная тетя Женя начинает одевать Зою и Риту.

Моя очередь одеваться еще не скоро. Я сижу в кресле и думаю. Случай с ворованными яблоками почему-то приводит мне на память другую размолвку мою с папой…

Я тогда еще была совсем маленькая – лет пяти, не больше. Мне подарили ко дню рождения чудесную куклу – говорящую! Потянешь за один шнурочек на кукольном животике, кукла скрипит: «Уа! Уа!» – это значит: «Ма-ма!» Потянешь за другой шнурочек, кукла опять верещит: «Уа! Уа!» – это означает: «Па-па!» В общем, кукла говорила не очень богато, но я была в восторге, и мне казалось, что это очень похоже на человеческую речь.

Пришла я с этой куклой – я с ней не расставалась! – в гости к бабушке и дедушке, родителям моего папы. Они жили в большом старом доме, где двор всегда был переполнен детьми. С самого утра эти дети, как юркие горошины из надорванного стручка, выкатывались во двор из своих жилищ: из подвалов, из мансард под крышей, из тесных, темных каморок. Дети были босые, оборванные. Отцы их работали на фабриках, в мастерских, и когда у отцов была работа – у детей был хлеб, иногда даже с головкой лука или куском селедки. Но часто работы у отцов не было, дети голодали. Бабушка моя зазывала таких детей к себе, кормила их чем могла.

– Ребенок должен кушать… – ворчала бабушка про себя. – Есть у отца работа или нет – разве ребенок виноватый? Ребенок должен расти…

Игрушек у этих детей не было. Они играли щепками, камешками, летом – стручками акаций. Девочки нянчили и баюкали поленья дров, заботливо закутанные в тряпки.

Так вот, пришла я к бабушке и дедушке, посадила свою чудесную говорящую куклу на окно (квартира была во втором этаже) и вдруг вижу – под окном, во дворе, собралась кучка девочек. Как зачарованные, они не сводят глаз с моей

куклы. Я приподняла куклу, чтобы девочки могли лучше рассмотреть ее, стала поворачивать куклу так, чтобы они могли разглядеть ее со всех сторон. Потом стала тянуть за шнурочки, чтобы кукла «заговорила». Девочки смеялись, одна захлопала в ладоши, другие подхватили. Вдруг чья-то рука резко вырвала у меня куклу. Я обернулась – позади меня стоял папа, и такой злой, рассерженный, что я обомлела. С сердцем выхватив у меня куклу, папа размахнулся, чтобы вышвырнуть ее в окно на вымощенный камнями двор.

– Яков! Разобьешь…

Это подоспела бабушка. Она крепко держала папу за руку.

Папа опомнился. Посмотрел на меня, на куклу, на девочек во дворе. И вдруг, словно обрадовавшись, крикнул в раскрытое окно:

– Девочки! Бегите сюда, скорее!

И когда девочки вбежали в комнату:

– Вот, девочки, моя дочка дарит вам куклу. У нее есть дома другая.

– Та кукла не умеет говорить! – прошептала я с отчаянием.

– Ничего, научится! – отмахнулся от меня папа. – Берите, девочки!

– Насовсем? – пискнула тоненьким голоском самая маленькая из девочек, кудрявенькая, с босыми ножками.

– Насовсем! – И папа протянул кудрявенькой куклу.

Девочки опешили, даже попятились к двери.

– Бери, бери, – настаивал папа.

Кудрявенькая протянула руки, папа положил на них мою «говорящую». Девочка оглянулась на своих подружек – они не сводили с куклы восторженных глаз.

Кудрявенькая посмотрела на папу пристально, словно хотела понять, не шутит ли он, можно ли ему верить.

И – поверила. Поверила и широко, как другу, улыбнулась папе. Потом она сказала, словно пропела, все тем же тоненьким голоском:

– Ой, кукла! Кукла!

И, приблизив куклу к своему лицу, кудрявенькая, выпятив губы трубочкой, неожиданно загудела басом:

– У, ты моя хорошенькая! У, ты моя золотенькая!

И убежала вместе с другими девочками, унося мою «говорящую». Быстро удалялось топанье босых пяток по полу. Потом смолкло.

Папа вышел из комнаты, даже не поглядев в мою сторону.

– За что папа на меня рассердился? – плакала я, уткнувшись в бабушкин фартук. – Что я сделала такого?

– Как «что»? – удивилась бабушка. – А зачем ты хвалилась куклой перед этими детьми? «Вот какая у меня кукла! А у вас такой нет!» Ай, как стыдно! Ай, как некрасиво! – огорчалась бабушка.

Через полчаса девочки прибежали снова. Кудрявенькая подала мне куклу:

– Вот. Спасибо. Мы уже поиграли.

– Вы не бойтесь, мы осторожненько, – вставила другая девочка, постарше. – Мы ничего не спачкали – мы руки вымыли.

Вернулись мы все-таки с папой домой без куклы. Папа настоял на том, что кукла подарена девочкам, – ну значит, она теперь ихняя, и все.

Все это проносится в моей памяти, пока я смотрю, как тетя Женя одевает Зою, и дожидаюсь своей очереди.

– Зоенька, солнышко! – умоляет тетя Женя. – Не перепутай то слово, заклинаю!

– «Атмоф-сера» – да, тетя Женя?

– Наказание мое! Не «атмофсера», а «атмосфера». Атмосфера! Не перепутай!

Зоя и Рита уже одеты. На обеих – мальчишечьи штанишки. Зоя до пояса закутана переливчатым блесточным шарфом, как кольчугой, а на кудрявых волосах надета шапочка со сверкающей елочной звездой. Ну прелесть Рыцарь Счастливой Звезды!

У Риты на голове – феска, на плечах – красная пелеринка. Нарисованы черные усы. В общем, сразу видно: кровожадная личность – Рыцарь Львиное Сердце.

Тетя Женя начинает одевать меня, и настроение у меня портится с каждой секундой. Мальчишечьих штанишек мне не дают – тетя Женя хочет, чтобы у меня был «подавляюще унылый вид», а в штанишках это, по ее мнению, не получится. Поэтому поверх моего платья на меня напяливают длиннополый черный капот тети Жени – я в нем моментально тону, как в омуте! Голову мне туго и гладко повязывают черненьким платочком – нельзя же, чтобы у Рыцаря Печального Образа торчали во все стороны «кудлы»! А в то место на затылке, где платочек стянут в узелок, тетя Женя втыкает мне длинное черное страусовое перо – такие перья колышутся на спинах коней, везущих похоронные колесницы.

– Прекрасно! – говорит тетя Женя, склонив голову набок и оглядывая меня с головы до ног. – Очень, очень стильно!

Уж не знаю, стильно или нет (надо будет спросить у папы, что это еще за «стильно» такое!), но, взглянув в большое зеркало, я себе самой ужас до чего нравлюсь! В необъятном капоте тети Жени я похожа на длинный черный восклицательный знак, а страусовое перо кажется воткнутым в мою голову, как в чернильницу! Ходить в тети Женином капоте невозможно – наступаешь сама себе на полы и спотыкаешься. Пока, в ожидании выхода на сцену, я подбираю со всех сторон фалды капота – так Юзефа подтыкает юбку перед тем, как мыть

пол, – и держу этот шлейф руками.

– Когда пойдешь на сцену, – напоминает мне тетя Женя, – не забудь опустить полы капота.

Ну конечно, опущу, не забуду. Маленькая я, что ли?

Первой, сияя елочной звездой, выпархивает на сцену Зоя. Зал полон. Вся семья Шабановых, соседи, прислуга встречают хорошенького Рыцаря Счастливой Звезды аплодисментами. Стоя у чуть притворенной двери в гостиную, я бы тоже от души аплодировала, но руки у меня были заняты фалдами тети Жениного капота.

– Аплодируешь? – шипит Рита. – Зоечке своей драгоценной?

Между тем на сцене Зоя бойко, «радостно-радостно», как ее учила тетя Женя, говорит свой монолог:

– Я – Рыцарь Счастливой Звезды! В моем чудном замке царит ат-моф-се-ра счастья, все сияет и сверкает, все поет и цветет. Жизнь протекает вечным праздником в балах и рыцарских турнирах в честь моей возлюбленной графини Элеоноры!

Окончив этот монолог, Зоя раскланивается со зрителями и убегает. Ее провожают восторженные хлопки. Никто, конечно, не заметил перепутанной «атмофсеры».

– Теперь ты, Рита! – командует тетя Женя.

Рита вылетает на сцену так стремительно, словно ею выстрелили из рогатки! Это тоже производит отличное впечатление на зрителей. Слышны аплодисменты и одобрительные возгласы:

– Ого!

– Казак-девчонка!

Рита начинает грозным голосом:

– Я – Рыцарь Львиное Сердце!

Она выпаливает это оглушительно громко и с таким вызовом, словно хочет сказать:

«Да, да! Львиное Сердце! А кому не нравится, может убираться вон! Не заплачем!»

Зрители стихают. А Рита продолжает, яростно рубя воздух кулаком:

– Моя отрада – сражения и битвы! Я налетаю на врагов, как ястреб! Мой добрый меч рубит им головы, мой верный конь топчет их бездыханные тела! Так служу я моему королю и моей прекрасной даме!

Рита кончила. Гром аплодисментов!

– Иди, Сашенька! – говорит мне тетя Женя. – Теперь ты…

Я выхожу на сцену. Мое появление вызывает такой хохот зрителей, что я в недоумении останавливаюсь.

– Капот! – слышу я из-за двери трагический шепот тети Жени. – Опусти полы!

Только тут я спохватываюсь, что стою перед зрителями, подхватив со всех сторон руками полы своего злополучного капота, словно собралась переходить вброд ручей! Я поспешно опускаю полы капота и иду вперед. Но бурная веселость в зрительном зале не утихает – вероятно, моя унылая черная фигура очень смешна.

– Похоронная процессия едет!

– Нет, нет! Ксендз в черной сутане!

И тут происходит самая большая беда. Я делаю два шага, чтобы раскланяться и начать произносить «грустным-грустным» голосом свой монолог, но, наступив на свой капот, падаю, растянувшись во весь рост на полу… Смех вспыхивает еще громче! Я упрямо делаю попытку встать снова и пройти расстояние до края сцены, но снова падаю, беспомощно барахтаясь на полу, лежа на животе.

– Как жаба! – восторженно кричит кто-то из зрителей.

Тогда я решаю: не встану! Скажу свой монолог лежа, – какая разница? И, все так же распластавшись лягушкой, я начинаю говорить. Но от волнения и огорчения я перепутываю слова и говорю «грустно-грустно»:

– Я – Пецарь Рычального Образа…

Зрители уже не смеются – они стонут, они плачут от смеха!

Мне, конечно, очень хочется заплакать… Но тут я вдруг замечаю среди зрителей моего папу! Он смотрит на меня с тем лицом, с каким он обычно говорит мне: «Ненавижу плакс!» И слезы сразу высыхают на моих глазах. У меня мелькает мысль: уползти со сцены на четвереньках, тем более что иначе я все равно не могу сделать шагу, не спотыкаясь о капот и не падая все снова и снова.

Я смотрю на папу. Это длится секунду или две, но я понимаю, что уползти по-собачьи нехорошо, что раз я взялась сказать какие-то слова, я должна сказать их во что бы то ни стало. Капот мешает мне? А ну его совсем, этот капот! В один миг я расстегиваю пуговицы капота, он остается лежать на полу, я в собственном платье и с пером на голове подхожу к краю сцены, кланяюсь и начинаю говорить, слегка задыхаясь:

Жил на свете рыцарь бедный,

Молчаливый и простой,

С виду сумрачный и бледный,

Духом смелый и прямой…

Никто в зале не смеется. Пушкин – это Пушкин. И если не все понимают трагедию бедного рыцаря (я ведь и сама ее толком не понимаю!), то все

чувствуют музыку пушкинского стиха.

Почему я вдруг читаю не то, что мне назначено, – не про бедную покойницу Изабеллу, а Пушкина, – не знаю. Может быть, оттого, что я боюсь опять напутать («Пецарь Рычального Образа»!), а может быть, мне невольно захотелось как бы омыться светлыми струями пушкинской поэзии от всех перенесенных неприятностей и унижений… Но зрители аплодируют так же непосредственно, как за несколько минут до этого смеялись надо мной.

Все кричат: «Автора! Автора!» Тетя Женя, автор «исторической пьески о трех рыцарях из времен Средних веков», выходит на вызовы одна, без Пушкина. От скромности и смущения лицо у тети Жени красное, как борщ, который забыли заправить сметаной. Тетя Женя раскланивается, грациозно прижимая руки к сердцу, ее пенсне летает на шнурочке, как привязанный мотылек…

Потом начинаются концертные номера. Соседка-барышня поет романс. Она так напирает на буквы «ч» и «щ», словно прачка шлепает вальком по мокрому белью:

ЛуЧЫ зари прогнали ноЧЫ мрак,

И в небе звездоЧки ишЧЭзли…

Пока певица старается, за сценой происходит бурная драма. Вовик Тележкин, который должен сейчас выйти играть на скрипке, вдруг испугался и не хочет выступать! Мама Вовика уговаривает его, умоляет, почти плачет, но Вовик, закрыв глаза и судорожно выпятив ощеренную нижнюю челюсть, упирается:

– Н-н-нет!

– Вовик, золотце, рыбка моя… – Мама осыпает его нежными словами и поцелуями.

– Н-н-нет! У меня там одно фа не выходит.

– Вовик, мама просит… Ты совсем не любишь свою маму!..

– Н-н-нет!

Зрители в зале уже прослушали романс про «веЧЭрние луЧЫ», они ждут скрипача, аплодируют и топают ногами. Но Вовик упрямо трясет головой:

– Нет!

Тогда к Вовику подходит Рита и, как всегда хмуро набычившись, говорит ему:

– Сию минуту ступай играть, идиот!

И удивительно – Вовик как миленький отправляется со своей скрипкой на сцену! Мама его вздыхает, словно ее вытащили из воды.

Вовик усердно пиликает. Но в середине пьески, очевидно дойдя до того фа, которое у него «не выходит», Вовик умолкает, беспомощно озирается и, тряся головой, кричит:

– Н-н-нет!

И опрометью бежит со сцены.

Спектакль-концерт окончен.

Глава третья. Званый ужин

Зрители все разошлись. Осталась только я – папа ходит по хатам рабочего поселка.

В детской Риты и Зои накрыт стол. Одна половина стола заставлена разнообразной едой. Тут первая бледно-розовая парниковая редиска, горшок со сметаной, сардины, отливающие жемчужно-опаловым блеском, пирожки, жареная курица, прижавшая под мышкой, как портфель, собственный пупок. На другой половине стола – несколько селедок в селедочнице и большая миска с вареной картошкой.

Мы с Зоей и Ритой усаживаемся за первой – обильной – половиной стола. Я проголодалась – ведь мы с папой выехали из дому, не успев пообедать. Рита и Зоя наперебой предлагают мне то одно, то другое, накладывая мне на тарелку всякую еду. Сами же они – правду говорила папе Серафима Павловна – есть не хотят. Зоя лениво хрупает вынутую из вазы за хвост редиску. Рита разломила пополам пирожок и не стала есть.

– С мясом… – делает она гримаску.

Только что я собралась приняться за еду, как в комнату входит Серафима Павловна, веселая, с хитроватой искринкой в глазах («Вот как я хорошо подстроила!»). За Серафимой Павловной входят два мальчика лет десяти и смущенно останавливаются у дверей, переминаясь босыми ногами.

– Девочки, принимайте гостей! – объявляет Серафима Павловна. – Если вы и сами будете кушать, они будут приходить к вам каждый день. Как тебя зовут, мальчик?

– Колька… Николай… – Мальчишка краснеет не только лицом, но и кожей на коротко выстриженной белесой голове.

Эта голова почему-то привлекает к себе тревожное внимание Серафимы Павловны.

– Что это у тебя, Коля, с волосами?

– Мамка скоблила… – объясняет он. – Звестное дело, не умеет она… Не пикирмахер…

Голова Кольки в самом деле носит следы домашних ножниц: вся в лесенках и беспорядочных просеках.

Серафима Павловна успокаивается: слава богу, не колтун у мальчика или, сохрани бог, парша!

– А как тебя звать? – обращается она ко второму мальчику, в длиннейшей, видно отцовской, рубахе с закатанными рукавами.

При взгляде на него я сразу вспоминаю, как я только что тонула в капоте тети Жени!

– Антось… – называет себя мальчик. Но тут позади раздается звонкий голосок:

– А я – Франка!

И между обоими мальчиками протискивается веселое лицо девочки лет семи. У нее круглая головка, очень подвижная, поворачивающаяся то к одному, то к другому, как у воробышка или синички. В косицу вплетен обрывок чистой тряпочки.

– Ага! Франка! – повторяет девочка.

– Да ты откуда взялась? – смеется Серафима Павловна. – Я тебя раньше не видела.

– А я с ими. С хлопчиками…

Франка стоит впереди мальчиков. От смущения и застенчивости она чешет одну босую ногу о другую и все время быстрыми «воробышковыми» движениями поворачивает круглую головку ко всем присутствующим. Что-то светлое и доверчивое есть во Франкиных глазах и веселом лице. На руках у Франки – девчушка лет полутора, очень похожая на Франку круглой головкой и глазами. Таскать ее на руках, видимо, нелегко, и Франка стоит, несколько откинувшись назад для равновесия.

– Ну, матушка, – разводит руками Серафима Павловна, – ребенка притащила! Ты бы еще козу привела… Или поросенка!

– Не, пани! Нема у нас ани козы, ани порося… – Франка докладывает это с таким счастливым, сияющим лицом, как если бы она говорила: «Есть! Есть! И коза и поросенок – все у нас есть!» – А то – моя сестра Зоська! – показывает она на девочку, которую держит на руках.

И вдруг, видимо, испугавшись, что с Зоськой ее не пустят дальше порога этой красивой комнаты, заставленной игрушками, Франка плачет. Но и слезы,

брызнувшие из ее глаз, какие-то светлые, даже веселые, как солнечный дождик!

– Не гоните меня, пани! Зоська будет тихонько-тихонько!..

– Оставь ее, мама! – просит Зоя. – Мы потом будем играть с ее малышкой, наденем на нее платье и чепчик моей куклы Маргариты!

– Почему твоей Маргариты? – сердится Рита. – Почему не моей Софи?

– Ладно! – разрешает Серафима Павловна. – Садитесь все за стол. Вот сюда. – Она показывает на ту половину стола, где стоят селедки и картошка. – Только уговор: если Зоенька и Риточка хотят, чтобы к ним ходили каждый день, они тоже будут хорошо кушать… Да, девочки?

Осветив всех своей доброй улыбкой, Серафима Павловна уходит из комнаты.

Неожиданные гости – Коля, Антось и Франка со своей сестренкой – быстро садятся за стол.

– Кушайте, пожалуйста, – любезно приглашает Зоя, как дама, принимающая гостей.

Но гости и без «пожалуйста» принимаются за еду.

Антось, который у них вроде как за старшего, делит картошку и селедки по трем тарелкам. Он делает это быстро, точно, справедливо, как артельный староста, – порции совершенно равные! Оставшуюся картофелину и кусок селедки он кладет на Франкину тарелку: для Зоськи.

Мы с Зоей и Ритой не едим. Мы смотрим.

Зоя и Рита, перекормленные дети, для которых еда – надоевшее, неприятное дело, хуже наказания, во все глаза смотрят на этих ребят, весело, жадно уминающих картошку с селедкой.

И хотя я расту в семье, где нет культа еды, меня к еде не принуждают, и я нередко вижу, как едят люди, проголодавшиеся после работы, едят со здоровым

аппетитом, – но вот этого, что сейчас развертывается перед моими глазами, я тоже еще никогда не видела! Это – голод, застарелый, привычный голод, вряд ли когда-либо утоляемый досыта…

Франка ест сама и с материнской нежностью кормит Зоську. Если Франка случайно замешкается, Зоська требовательно тянется ручонками и кричит: «Дай, дай, дай!» Иногда она даже пытается залезть пальчиками во Франкин рот, чтобы вырвать оттуда еду: «Дай, дай, дай!»

Картошка убывает с поразительной быстротой, селедок уже нет.

Вот уже съедено все, подобраны крошки развалившихся картофелин. Коля, Антось и Франка сидят неподвижно, не сводя глаз с еды, поставленной на нашем конце стола. Они еще не сыты.

– Что же ты не ешь? – радушно спрашивает Зоя, показывая на мою тарелку, полную еды, к которой я еще не притронулась.

– Не хочется…

Мне в самом деле больше не хочется. Расхотелось. Смутное чувство подавило мой голод. Я еще не умею ни назвать, ни понять, что это – стыд. Мне стыдно есть перед голодными…

– Можно, – шепчу я Зое, – я отдам им то, что у меня на тарелке?

– Почему ты у Зойки спрашиваешь? – запальчиво говорит Рита. – Она здесь не хозяйка!

Но, не дожидаясь ответа, я ставлю свою тарелку с едой перед Антосем – пусть он разделит между всеми остальными.

– Я отдам им пирожки? – полувопросительно говорит Зоя.

– Конечно! – пожимает плечами Рита. – С мясом же…

Пирожки мгновенно исчезают, как весенний снег, растаявший на солнце.

И тут начинается настоящий азарт! Зоя и Рита с увлечением накладывают на тарелки гостей сметану, куски курицы. Гости съедают редиску вместе с торчащими из нее хвостиками малокровной парниковой ботвы. Выражение озабоченности, бывшее на их лицах, когда они садились за стол, сменяется сиянием удовольствия.

Колька порозовел, у него залоснился нос. Но всех ярче переживает наслаждение едой Франка. Она вся светится радостью, часто хохочет, прикрывая при этом рот кулаком, чтобы ни одна крошка не выпала из жующего рта. Зоська, наевшись сметаны, сразу приваливается дремать к плечу Франки. Она во сне сопит от удовольствия и бормочет «м-м-м», – как сытый медвежонок.

Все подъедено. Вчистую!

Зоя перекладывает с опустевших тарелок гостей на наши тарелки куриные кости и все, что говорит об участии гостей в ужине, который был предназначен не для них. Я смотрю на нее вопросительно – зачем она это делает?

– Знаешь, наша мама, она такая… Она может рассердиться, – рассудительно объясняет мне Зоя. – Она ведь хочет, чтобы ели мы с Риткой, а не чужие дети.

Ребята сыты. Может быть, в первый раз в жизни они так наелись. Они удовлетворенно откидываются на спинки стульев. Антось похлопывает себя рукой по животу:

– Сыт пуп – наел круп…

И все хохочут.

– А я могу загадку сказать, – говорит Колька. – «Хожу я босиком, хотя я в сапогах, хожу на голове, хотя я на ногах»… Кто отгадает?

Таких умных среди нас не оказывается, никто не отгадывает.

И Колька с торжеством говорит разгадку: сапожный гвоздь!

Потом мальчики веселятся, запуская какой-то особенный Ритин волчок, который поет низко, как струна контрабаса.

Поиграть с Зосенькой ребятам не удается – она спит. Уговариваются, что завтра Франка принесет ее пораньше. Зосеньку выкупают в кукольной ванночке и оденут в кукольное платье…

Вошедшая Серафима Павловна с интересом оглядывает стол. Отлично – на Зоиной и Ритиной тарелках куриные кости, следы сметаны. Очевидно, девочки ели вместе со всеми. И она рада: затея ее удалась!

– Ну, ребята, теперь ступайте домой…

Колька говорит по-русски: «Спасибо». Антось и Франка благодарят по-польски. Уходя, Антось останавливается в дверях:

– Завтра приходить?

В глазах всех троих ребят – тревога и надежда.

Глава четвертая. Мы с папой кутим!

Мы едем из Броварни в город.

Неподвижна на козлах парусиновая спина кучера Яна. Неподвижен сумеречный воздух. На светлом еще небе висит серп месяца, беленький и чистенький, как только что срезанный ножницами детский ноготок.

С болота налево от дороги доносится непрерывное гуденье, густое и жалобное, как стон. Я знаю, что это вечерний хор лягушек, но мне всегда думается: не могут маленькие лягушки греметь таким трубным гласом! Нет, это стонет вся земля: «Лю-у-уди! Бегите-е-е! Беда-а-а!»

…Пятьдесят лет спустя я поеду этой же дорогой в первый вечер войны – 22 июня 1941 года. Вагон уличного автобуса, набитый женщинами и детьми, повезет меня домой, в Москву. По обочинам дороги люди будут бежать – прочь, прочь от наступающих фашистов! – в воздухе будет стоять плач уносимых матерями детей, жалобное мычание и блеянье угоняемой от врагов скотины… И трубный хор лягушек, густой, тягучий, и земля, содрогающаяся под тысячами ног, будут предостерегать: «Лю-у-уди! Беги-и-ите! Беда-а-а!..»

Я не задаю папе никаких вопросов – я вижу, как он устал, сидит, призакрыв глаза и поклевывая носом. Ведь он не спал всю вчерашнюю ночь – оперировал тяжелую больную. Вернувшись домой, поспал часа полтора, потом уехал в госпиталь, потом в Броварню, где несколько часов ходил из хаты в хату. И даже не обедал в этот день: не успел.

Но все-таки есть один неотложный вопрос!

– Папа, почему Владимир Иванович сказал Серафиме Павловне «умалишотка»? Что это значит?

Папа отвечает не очень охотно:

– Это значит «ума лишенная»… Так называют сумасшедших.

Я прислоняюсь головой к папиному плечу. От папы, как всегда, сильно пахнет карболкой и другими докторскими запахами. В минуты большой нежности я даже называю папу «карболочкой». Юзефа бранит за это – виданное ли дело, чтобы ребенок называл отца собачьей кличкой!

– Карболочка! Знаешь, мне очень хочется есть…

– Разве тебя в гостях не накормили? – удивляется папа.

Я рассказываю папе, как Серафима Павловна привела Колю, Антося и Франку с Зосенькой…

– Они были голодные, папа, просто ужас! Рита и Зоя отдали им весь ужин. И знаешь, папа, Зосенька – такая малютка! – умеет селедку есть!

Тут происходит целый ряд удивительных, небывалых вещей! Бричка останавливается, неподвижная и молчаливая спина Яна делает полный поворот, и Ян, веселый, хохочущий Ян, даже перекидывает одну ногу к нам в бричку!

– Все зъели? – спрашивает Ян, с восторгом мотая головой. – Ничего панам не оставили? От лайдаки (бездельники) дети, бодай их!

– Их еще и на завтра позвали, – говорю я, – и на послезавтра.

Ян мрачнеет:

– А вот прознает барыня, что ейных детей нищие объели… Унюхает она, як бога кохам, унюхает! Она тем нищим таку баню затопит! Панским детям, известно, забавка, игрушка – голодных кормить!

Ян перекидывает ногу обратно через грядку брички и снова трогает вожжи. По своему обыкновению, он бубнит, ни к кому не обращаясь:

– Играются панские дети… Играл волк с кобылой, одни копыта от ней осталися!..

– Давай, папа, – предлагаю я, – когда въедем в город, купим чего-нибудь поесть!

Но папа приходит в смятение:

– То есть как это – купим! В магазине?

У каждого человека есть свои слабости и странности. У папы их много, и иные из них смешные, непонятные. Например, папа ненавидит, ну просто ненавидит заходить в магазины, прицениваться, покупать, он даже словно боится этого! Это, наверно, оттого, что он рассеянный, даже немного выключенный из окружающей жизни. Он всегда углублен в какие-то свои мысли – о больных, об операциях, о научных докладах в Обществе врачей. Всякую свободную минуту папа читает газеты, журналы, книги, последние новинки медицинской литературы. Пойти в магазин – значит оторваться от всего этого интересного и

думать о скучнейших вещах: взять этот галстук, в полоску, или тот, в горошинку? Велеть отрезать этого сукна, черного, или того, серого? Да еще, может быть, торговаться: нет, это дорого, больше рубля семидесяти пяти копеек не дам… Как-то папа отправился покупать себе шляпу, то есть, конечно, не по собственной воле, а мама просто погнала его:

– Что у тебя за шляпа? Посмотри сам – гнездо воронье!

– А ничего! Больные мои не жалуются…

Но мама настаивала, и он пошел.

В магазине, рассказывал потом папа, приказчик выложил перед ним на прилавок чуть ли не десять шляп!

– Раскладывает, понимаешь, и раскладывает, говорит и говорит… Это – фетр, это – кастор, это – котелок, это – борсалино какое-то или бормалино, – итальянская шляпа, высший шик! Смотрю я на эти десять шляп, и такое у меня чувство, словно не одна у меня голова, а десять, и во всех головах отчаянная мигрень… Я ткнул пальцем в первую попавшуюся, – это и была борсалина или бормалина, как ее там звать, – самая дорогая потом оказалась!.. «Вот эту, говорю, заверните, пожалуйста»… А приказчик все не отстает! «Разрешите примерить?» Я чуть не заплакал: «Не надо примерять, не надо, я на глаз вижу, что она мне как раз впору!..» Приказчик завернул, я схватил эту шляпу, прибежал с ней домой, – а шляпа-то, проклятая, мала оказалась! Сидит у меня на затылке, как муха на арбузе!

С того замечательного случая мама совершенно отстранила папу от всяких покупок. Что можно, покупает для него сама. Все, что надо примерять, присылают из магазина к нам домой. Под зорким глазом мамы папа терпит примерку, хотя и ворчит. Сам он ни в какие магазины не ходит и даже не знает, где и что продают.

Вот и теперь, когда я предложила купить чего-нибудь съестного, папа смотрит на меня потерянными глазами.

– В магазин? – бормочет он. – Дайте, пожалуйста, две котлеты… Или не котлеты – другое что-нибудь?

– Нет, нет, папочка! – успокаиваю я. – Зачем в магазин? Можно купить бубликов прямо на улице, у торговок. Сейчас вечером продают свежие, горячие…

Папа сразу веселеет:

– Бублики! И не в магазине? Замечательно! Горячие бублики… Кутим, Пуговка!

Город встречает нас оглушительным грохотом булыжной мостовой. Словно она, мостовая, соскучилась без нас и радостно ржет: «Ура! Воротились! Ур-р-ра!»

– Вот! Видишь, папа? Что я говорила!

На ближайшем углу, около сквера, прямо на тротуаре, – маленький торговый «толчок»: несколько торговок с корзинками. В корзинках – тепло укрытые, чтобы не остывали, бублики, пляцки, осыпанные маком. Тут же – семечки, черные, подсолнуховые, и белые, тыквенные, вареные бобы и ириски. Ириски – товар люкс: по копейке за штуку! Они бережно прикрыты бумажкой от уличной пыли.

У первой же от угла бубличницы, старухи Ханы – я ее знаю, она ходит со своим товаром по квартирам тоже, заходит и к нам, – мы с папой покупаем целую гору бубликов. Они в самом деле горячие, золотистые, пузатенькие, с крохотной круглой дырочкой, размером с куриный глаз.

– Кушайте на здоровье! – Хана смотрит на нас измученными глазами и улыбается нам усталой, грустной улыбкой. – Кушайте и живите сто двадцать лет… И вы, господин доктор, и ваши дети, и дети детей ваших…

– За что мне такой долгий век? – удивляется папа.

– За то, – серьезно отвечает Хана, – что вы мою дочку вынули из гроба – вот так, вот этими вашими руками вынули, – и велели ей: «Живи!»

– И живет она? – интересуется папа.

– А как же! Конечно, живет, лучше б ей, бедной, помереть! Каждый год – по ребенку, муж – без работы… Вот – хожу с моими бубликами с утра до ночи… А

можно прокормить этим шестерых деток и троих взрослых?.. Я вас спрашиваю!

Большую часть бубликов мы отдаем шабановскому кучеру Яну: я опускаю бублики в карманы его парусинового балахона.

– Спасибо. Детям отвезу… – кланяется Ян.

Папу осеняет внезапная мысль:

– Пуговка! Кутить так уж кутить… Отпустим Яна в Броварню, а сами пойдем домой пешком! А? Подумай – прогулка! Это же замечательно!

Еще бы – прогулка с папой! Это не то что ежедневное мученье с Цецильхен… «Не вози ногами, не взрывай пыль! Не поднимай с тротуара цветок, – может быть, у того, кто его обронил, были бородавки на руках…»

Ян уезжает в Броварню. Мы чинно идем по улице.

– Папа, можно я возьму тебя под руку, как большая? «Кто это там идет?» – «Это идет доктор Яновский с какой-то незнакомой дамой!» Папа, а как же мы будем есть бублики на улице? Фрейлейн Цецильхен говорит – это неприлично.

– А бог с ней, с Цецильхен! – отмахивается папа.

– Нет, мама тоже не позволяет есть на улице.

– Гм!.. И мама тоже? – Папа беспомощно щурит близорукие глаза. – А вон там, кажется, скамейка, да? И дерево… Что это такое?

– Это Театральный сквер. Разве ты его не знаешь, папа?

– Ну, откуда мне знать! Я же всегда тороплюсь, езжу на извозчике, по сторонам не гляжу… Занимай скамейку, живо!

Ну вот, мы и в сквере. Это не улица, тут можно есть.

И мы с аппетитом уминаем свои бублики. Скамейка наша стоит под высоким деревом.

– Клен… – говорю я с полным ртом. – И цветет… Слышишь, папа, как пахнет? Кисленьким-кисленьким! Узнаешь?

– Нет… не узнаю… – признается папа словно с грустью. – Я, знаешь, редко встречаюсь с ними… с этими самыми… ну, с кленами… Я уже забыл, как они пахнут. Это я сегодня с тобой так закутил!

– А раньше? Когда ты не был доктором? Когда ты еще учился?

– Ну, тогда – сама говоришь – я учился.

– День и ночь?

– Нет, ночью я спал. Правда, ночь иногда бывала очень коротенькая… Надо было работать, много работать! Мой отец – твой дедушка – посылал мне пятнадцать рублей в месяц, шутка? Они с бабушкой отрывали их от себя с кровью… Когда я уезжал в Петербург, в Военно-медицинскую академию, отец подарил мне свой старый кошелек со сломанным замочком. Кошелек лежал у меня на столе, раззявившись, как голодный… Я иногда дразнил его: «Колбасы хочешь? Хлеба? Я тоже хочу, – потерпим оба…» И я учился. Ох, как учился! Ну, и медицина, братец ты мой, – серьезная наука, ее абы как изучить нельзя. Кончишь академию, и дадут тебе в руки не что-нибудь, не куклу, а жизни человеческие!..

Мы молча жуем бублики. Папа усталый, но довольный. Я смутно понимаю, что этот сквер, куда я каждый день прихожу с Цецильхен катать серсо или прыгать через веревочку, для папы – событие, почти не встречающееся в его трудовой жизни.

– Мы еще с тобой когда-нибудь в цирк сходим. Или в театр! – мечтает папа. – А в день твоего рождения я в этом году с утра и до вечера буду дома… Буду плясать с твоими подругами и играть в эти… как их… «Барыня прислала сто рублей»… Да?

– Да-а-а… – тяну я недоверчиво. – Каждый год ты это обещаешь! И – ни разу, ни разу…

– Да, ни разу! – грустно соглашается папа. – Все больные, понимаешь. Не бросить же их! Но, может быть, в этом году…

– Папа! А про Абрахама ты знаешь? Про то, как бог велел ему зарезать собственного сына?

– А тебе кто это наболтал?

– Цецильхен рассказывала…

– Удив-вительно! – сердится папа. – Удив-вительно, каким вздором некоторые люди набивают детские головы!..

На небе всходит вечерняя звезда. Она сидит на кресте соседнего костела, словно ее укрепили на верхушке рождественской елки. В прозрачных вечерних сумерках все кажется нарисованным на картинке: и костел со звездой на кресте, и кованая чугунная ограда сквера, и маленький «толчок» на углу с торговками, похожими на страшных ведьм и волшебниц.

– Папа! Ты Владимира Ивановича не любишь?

Думая о чем-то другом, папа рассеянно переспрашивает:

– Я Владимира Ивановича не… Какого Владимира Ивановича?

– Ну, пап, ты не слушаешь!.. Шабанова, Владимира Ивановича, Зои-Ритиного папу… Ты его не любишь?

– Почему ты так думаешь?

– А вы с ним всегда спорите, кричите друг на друга… Ты его не любишь?

– Видишь ли… – начинает папа и, вдруг оборвав, неожиданно соглашается: – А и вправду не люблю. За что его любить? Что он такое хорошее делает, чтоб его любить? Кто он такой?

– У него пивоваренный завод, – рассудительно повторяю я то, что я слыхала, говорят о Владимире Ивановиче Шабанове взрослые. – Он пивовар.

– Пи-во-вар! – насмешливо растягивает папа это слово. – Рабочие варят ему пиво! Он им за это платит гривенники и двугривенные, и только я один знаю, как они живут, его рабочие, – в нищете и болезнях… А Шабанов продает это пиво за сотни и тысячи… Пи-во-вар! – Тут папа вдруг спохватывается: – Ох, о чем я с тобой, цыпленком, говорю! В общем, Шабанов такой, как все другие. Есть и похуже, чем он!.. Ты смотри держись хороших людей. К хорошим тянись!.. Я ведь когда-нибудь умру, вот с хорошими людьми ты не будешь сиротой.

Бывает, сахар лежит на дне чашки с чаем. Отхлебнешь – не сладко. Но чуть помешаешь ложечкой, как вкус сахара наполняет весь чай, доходит до самых верхних его слоев… Так папины слова о возможной его смерти, словно помешав ложечкой в моей душе, подняли в ней то, что, видимо, лежало на дне с самого утра, а может быть, и дольше: чьи-то чужие, горькие слова, не ставшие еще моей собственной мыслью, моим собственным опасением, – нестерпимая горечь наполняет меня до краев.

– Папа, – говорю я тихонько, – какой дом, Юзефа говорит, у тебя будет… в три аршина?

– Да ну! – отмахивается папа. – Юзефины сказки!

Но я продолжаю допрос:

– Три аршина – это ведь маленький дом?

– Н-небольшой… – признает папа.

– Как же мы все там поместимся?

– Нет… – неохотно роняет папа. – Я там буду один. Без вас.

– А мы?

– Вы будете приходить ко мне в гости… Вот ты придешь к этому домику и скажешь тихонько – можно даже не вслух, а мысленно: «Папа, это я твоя дочка… Пуговица… Я живу честно, никого не обижаю, работаю, хорошие люди меня уважают…» И все. Подумаешь так – и пойдешь себе…

В моей памяти всплывают слова «стихотвореньица», которое мне утром говорила Цецильхен:

Ведь день настанет, день настанет,

И ты заплачешь у могил…

– Что-о такое? – возмущенно всматривается в меня папа. – Она сейчас начнет поливать улицы! А она помнит, что я ненавижу плакс?

– Она помнит… – Я судорожно подавляю слезы. – Только… папочка, дорогой, ты умрешь?

– Ох, какая глупая! И я тоже дурак… – сердится папа. – Не смей плакать, я еще не скоро умру: мне тридцать шесть лет.

– Ну, вот видишь! – говорю я с отчаянием. – Сам говоришь, что ты старик!

Я делаю невыразимые усилия, чтобы не плакать, чтобы папа не сказал с презрением: «Ненавижу плакс!» Сдерживаемые слезы, как люди, запертые в доме на ключ, толкаются, ищут выхода: щиплют глаза, щекочут горло, даже отдаются иголочками в пальцах, которыми я судорожно цепляюсь за папину руку.

Папа обнимает меня:

– С чего ты все это взяла? Почему ты об этом думаешь?

– Юзефа сказала про дом в три аршина…

– Юзефа – полоумная старуха.

– Фрейлейн Цецильхен научила меня стихам… – И я читаю папе «стихотвореньице».

– Ну, знаешь, – возмущается папа, – Цецильхен твоя…

– Я знаю. Она дура! – подтверждаю я.

– Гм!.. Этого я не сказал… – растерялся папа.

– Но ты это думаешь. Думаешь, думаешь, думаешь! – стараюсь я помешать папе говорить. – Ведь думаешь?

Это я спрашиваю в упор, и папа не может солгать.

– Ну, положим… иногда думаю… Но, в общем, Цецильхен сказала тебе правду: все люди умирают. Что ж тут особенного? И знаешь, смерть хватает все больше тех, которые ничего не делают, сидят на месте, как студень. А я всегда на ногах, я работаю, – ей за мной не угнаться!.. Я еще, знаешь, поживу!.. Ну, как? Она успокоилась, она не брызгает?

– Успокоилась. Не брызгает…

Но мы еще несколько минут сидим, как прежде, – папа обнимает меня, я крепко прижимаюсь к нему. Вероятно, это одна из тех минут, когда мы особенно явно чувствуем, как сильно любим друг друга.

Папа мой, папа!.. Через пятьдесят лет после этого вечера, когда мы с тобой «кутили», тебя, 85-летнего старика, расстреляли фашисты, занявшие наш город. Ты не получил даже того трехаршинного домика, который тебе сулила Юзефа, и я не знаю, где тебя схоронили. Мне некуда прийти сказать тебе, что я живу честно, никого не обижаю, что я тружусь, и хорошие люди меня уважают… Я говорю тебе это – здесь.

– Пора домой, – говорит папа, – а не хочется!

Мне тоже не хочется.

И вдруг откуда-то издалека слышен негромкий приближающийся голос:

– Сах-х-харно мор-р-рожено!

Этот голос я узнаю сразу, еще даже не видя, кто кричит-выкликает. Да это и не обычный выкрик всех мороженщиков – бум! бум! тра-та-там! Этот голос словно выпевает свое «сахарно морожено», выпевает, как песню, ласковым, задушевным тенорком.

– Андрей! – вскакиваю я со скамейки. – Андрей-мороженщик приехал!

На дорожке сквера показывается человек с великаньей головой: это его кадка. Он идет, чуть подтанцовывая, чтобы удержать в равновесии на голове эту большую круглую зеленую бадью.

– Андрей! – бросаюсь я к нему. – Здравствуйте, Андрей!

Андрей неторопливо снимает с головы кадку и ставит ее на землю. Как всегда при этом, он на секунду словно разминает затекшую шею. Приложив руку щитком к глазам, он всматривается в меня:

– Никак, Сашурка-бедокурка! Она самая!

Чуть ли не всех людей в городе Андрей-мороженщик знает и зовет кличками, им самим придуманными. Меня – «Сашурка-бедокурка». Моего дядю Мишу – «Миша – серые штаны». Дачную соседку нашу, которую Андрей побаивается, он шепотом называет «Тещей», а генеральшу Щиголеву, очень шумно сердитую даму, Андрей тоже шепотом называет «Щи кипят».

Почему-то почти все мороженщики, появляющиеся в нашем городе с первыми теплыми днями, – не местные, а пришлые, и главным образом из Тверской губернии. Андрей тоже оттуда. Он крестьянин, но лошади своей у него нет, земли – всего полнадела. «А ртов-то, ртов!» – рассказывает иногда Андрей и при

этом безнадежно машет рукой. Для того чтобы прокормить все эти рты, Андрей ежегодно приезжает в наш город на четыре-пять теплых месяцев года, шагая – или, как он говорит, «шастая» – по городским улицам и дачным местностям. В остальное время года Андрей занят каким-то другим отхожим промыслом, и тоже не в своей деревне.

Андрея в городе любят. И мороженое у него, говорят, вкуснее, чем у других мороженщиков, и человек он милый, приветливый. Я Андрея просто обожаю, и не только за мороженое, но за ласковость обращения, в особенности с детьми, за мягкий, певучий голос, за вкусно рассыпающийся говорок, какой редко услышишь в нашем крае, за смешные словечки и прибаутки.

И вот он, Андрей! Опять приехал! Как всегда, черная жилетка надета у него на линялую рубаху, некогда сшитую из розового ситца. Поддевку Андрей надевает только в конце августа, когда перед отъездом обходит своих должников. В эти дни он ходит уже без своей кадки, а из кармана у него выглядывает книжечка: в ней никому, кроме самого Андрея, не понятными иероглифами обозначено, сколько за лето наели в долг мороженого оболтусы-гимназисты, кадеты, юнкера, сыновья «Тещи» и других. В эти дни должники-оболтусы прячутся, и Андрей имеет дело только с разгневанными мамашами. Но честность Андрея настолько общеизвестна, что даже генеральша «Щи кипят» платит не споря. Записано у Андрея в книжечке – значит, столько оболтусы и наели в долг, значит, столько и платить. А сыновьям можно надрать уши и потом.

Зеленую кадку с мороженым Андрей носит на голове, поверх шляпы извозчичьего фасона, похожей на сплющенный цилиндр с твердым плоским верхом. Кадка тяжела. Из года в год Андрей все сильнее жалуется на головокружение, на то, что глаза видят хуже, а одно ухо вовсе не стало слышать.

– Чем потчевать прикажете, господин доктор?

– А что есть, Андрей? Что есть? – приплясываю я перед ним на одной ноге.

– Да почитай что и ничего… К вечеру дело, расторговался я за день. Было сливочное – кондитерское и простое – да крем-брули. Одной только крем-бруля и осталось на донышке… Остатки сладки… Прикажете-с?

– Конечно! – говорит папа. – Мы нынче с дочкой кутим. Давайте эту самую крем-брулю!

Андрей развязывает и снимает широкое, малинового цвета полотенце, укрывающее кадку сверху. Как старые знакомые, возникают в кадке три высоких круглых медных цилиндра с крышками, обложенных обычно льдом и солью. Между цилиндрами стоит стопка блюдец и костяные ложечки. Тут же – большая ложка с полушариями на обоих концах. Ловко орудуя этой ложкой, Андрей скатывает для нас шарики мороженого.

– А мы вас бубликами угостим! – говорит папа, пододвигаясь, чтобы дать Андрею место на скамье.

Андрей садится. Уличный фонарь освещает его уже немолодое лицо, чуть тронутое следами оспы. В резких морщинах от крыльев носа ко рту блестят капельки пота. Андрей ест бублик с удовольствием – видно, устал и рад отдохнуть после трудового дня. На лице у папы то же удовольствие от отдыха, оттого, что он едва ли не в первый раз за всю мою жизнь «кутит» со мной в сквере, где никто его не теребит, не торопит, никуда не увозит.

Под уличным фонарем нам отчетливо виден маленький «толчок» на углу – торговки, сидящие со своими корзинками прямо на тротуаре, у края сточной канавки. Слышно, как они предлагают свои товары прохожим, как переругиваются между собой:

– Геть студа! (Вон отсюда!)

– У, яка пани пулковница! Сама геть!..

Мы сидим на своей скамеечке под кленом. Внезапно Андрей говорит негромко и задумчиво:

– А и горько ж тут народ живет, господин доктор!..

– А у вас, Андрей, в ваших местах, лучше?

Андрей смущенно улыбается:

– Кабы у нас лучше было, зачем бы я от своего дома сюда подался – за тыщу верст щи через забор шляпой хлебать?

– Значит, и у вас плохо?

– Да как бы это получше сказать… Живем, как говорится, хлеб жуем, а хлеба-то и не хватает! В два кваса живем: один – как вода, а другой и пожиже воды бывает…

Снова молчание, и снова его прерывает Андрей:

– Вот только у нас, господин доктор, все одинакие. Русские то есть… А тут – господи милостивый! – все разные, и все – друг на друга! Русские говорят: «Это все поляки мутят!» Поляки опять же: «А зачем русские к нам пришли? Здесь наше царство было!» А литовцы обижаются: «Не польское, говорят, здесь царство было, а наше, литовское!» А уж жидов…

– Евреев, Андрей! – поправляет папа. – «Жид» – это злое слово…

– Виноват, господин доктор, – оправдывается Андрей. – Все так, и я за всеми… Так вот, евреев этих здесь вроде как и за людей не считают! Почем зря всякий обижает…

В эту минуту в другом конце сквера появляется на дорожке человек в черной форменной шинели. На плечах – там, где у военных полагается быть погонам или эполетам, – у него свитые жгутом оранжевые шнурки. На одном боку – большой револьвер, на другом – плоская шашка. Посмотреть на его бледное лицо, на его глубоко запавшие бесцветные глаза – подумаешь: больной он, бедняга, безобидный человек. Но из рукавов шинели выглядывают страшные кулачищи, за которые его ненавидит весь город. Это городовой, прозванный Кулаком не столько из-за фамилии «Кулакович», сколько из-за этих его кулачищ, которыми он бьет намертво. Кулак – взяточник, злой пес, грубый хам с беззащитным населением, жестокий истязатель арестованных. Он идет по дорожке медленно, крадущейся походкой хищника. Как кошка, подстерегающая мышь.

– Кулак! – первым узнает его издали Андрей и так резко вскакивает, таким рывком задвигает за скамейку свою кадку, что с клена над нашими головами

какая-то пичуга, сонно бормотнув и пискнув, улетает на другое дерево.

– Побегу торговок упрежу! – соображает Андрей. – Постережешь кадку, Сашурка?

Он быстро и ловко перемахивает через невысокую сквозную ограду сквера и бежит к «толчку».

Кулак идет мимо нас с папой. Глаза его зорко всматриваются в «толчок» на углу. На секунду он останавливается.

– Четверть девятого! – орет Кулак и, придерживая плоскую шашку, бьющую на бегу по его ногам, мчится собачьей рысью к месту преступления: после восьми часов вечера всякая торговля воспрещается.

Но Андрей опередил Кулака, и его предостерегающий крик: «Кулак идет!» – вызывает на «толчке» то же смятение и кутерьму, какие возникают на вокзальной платформе при появлении поезда. Торговки, торопливо срываясь с тротуара, подхватывают свои корзинки и бегут врассыпную. Одна только Хана, старая и хромая, не успела встать на ноги и продолжает сидеть рядом со своими двумя корзинками. Одну из этих корзин быстро схватил Андрей-мороженщик и скрылся с нею за углом. Вторая корзинка осталась рядом с Ханой на краю тротуара.

На «толчке» стало совсем пустынно. Фонарь освещает только сидящую старуху, с усилием пытающуюся встать, и ее корзинку.

– Торговать? В непоказанное время? – гаркает над головой Ханы городовой Кулак.

Старуха поднимает голову. «Ну на, ударь, бей!» – говорят ее измученные глаза.

И Кулак в самом деле ударяет изо всей силы ногой по Ханиной корзинке с бубликами. Корзинка покорно опрокидывается набок, словно собираясь выплюнуть все содержимое в протекающую мимо тротуара канаву. Я невольно ахаю. Но в мутную, грязную воду канавы падают один, другой, третий золотистые бублики и плывут, как три маленькие луны, – и это все. Больше в

корзине бубликов нет. А вторую корзину только что спас Андрей-мороженщик – унес ее куда-то.

Разъяренный Кулак пинает сапогом и Хану. Она успевает закрыть руками лицо – ведь с синяком под глазом она не сможет завтра выйти на улицу продавать свои бублики…

Кулак уходит, высоко поднимая плечи со жгутами из туго свитых оранжевых шнурков.

Все это происходит молниеносно и разыгрывается в течение нескольких секунд, не больше.

Тогда из-за угла осторожно выныривает Андрей-мороженщик. Унесенной им корзинки уже нет у него в руке. Он нагибается над плачущей Ханой.

– Вставай, баушк! – журчит он своим ласковым тенорком. – Чего туточка на тротуваре сидеть?

– Корзинка моя… Бублики там… – бормочет Хана. – Пропала…

– Цела она, баушк, корзинка твоя. И бублики целы. Я их тут, за углом, у добрых людей поставил. Сейчас кадку захвачу, и пойдем за бубликами твоими…

– Вы только подумайте!.. – вдруг всплескивает руками Хана. – Такое слава богу, такое слава богу – он же меня даже не оштрафовал, этот Кулак, чтоб ему сгореть!..

– Сгорит! – уверяет Андрей. И, прощаясь с нами, говорит: – Господину доктору – почтение! Сберегла кадку, Сашурка-бедокурка? Умница!

Андрей удаляется по вечерней улице, подтанцовывая под тяжестью кадки, покачивающейся на его голове. Рядом с ним, припадая на хромую ногу, плетется старуха бубличница Хана.

Оставшись одни на скамейке, мы с папой почему-то не спешим заговорить, и молчание тягостно нам. У папы лицо погрустнело, даже осунулось.

– Папа… – говорю я. – Папа, почему… почему так плохо? И эти дети у Шабановых: Антось, Колька и Франка с Зосенькой… Они ведь были голодные, да, папа?.. И Хана… И Кулак!.. Почему это, папа?

Папа отвечает не сразу. И говорит то, что я терпеть не могу слышать:

– Про это мы еще поговорим с тобой, когда у тебя коса вырастет…

Это последняя капля за весь пестрый день! Я больше не думаю о том, что папа ненавидит плакс. Я горько плачу.

– Папа, – и слезы катятся у меня по лицу, попадая в рот, еще сохранивший сладость недавно съеденного мороженого «крем-бруля», – папа, почему ты не заступился за Хану?

– А что я мог сделать, по-твоему?

– Крикнуть Кулаку: «Не смейте бить!»

– Ужасно бы меня Кулак испугался! – невесело шутит папа.

– Ну, убить его! Чтоб он помнил!

– А чем убить? Бубликом, да? И что же, Кулак, думаешь, один? Их тысячи. Одного убьешь – людям не станет легче…

Папа встает со скамейки:

– Лечить – вот все, что я могу… Ну, пойдем, Пуговка, поздно уже.

Мы идем домой, и у меня впервые рождается мысль: «папа может – не все»… Думать это очень горько.

Когда мы входим с папой домой, мама под лампой раскладывает пасьянс. Она смотрит на меня в сильнейшем удивлении, потом подводит меня к зеркалу: «Посмотри на себя!» Я вижу: по всему моему лицу – грязные подтеки от слез,

пальцы слиплись от мороженого, «кудлы» всклокочены. Пальто – ни моего, ни папиного – нету: мы забыли их в бричке Яна, и он увез их обратно к Шабановым, в Броварню.

– Где вы так долго были? – спрашивает мама тихим голосом, словно мы – больные.

– Мы с папой кутили, – объясняю я.

Папа уже исчез – его сразу увезли к больному. Срочный случай!

Фрейлейн Цецильхен уже спит, она любит ложиться рано. Юзефа укладывает меня спать. Умывая и причесывая меня, она все время ворчит по адресу фрейлейн Цецильхен – она ее ненавидит!

– Привезли немкиню (немку)! Ни кудлы ребенку расчесать, ни помыть. Хоть ложись ребенок з хразными нохами в постелю, ей что?

Юзефа вносит зажженную лампу в комнату, где мы спим с Цецильхен. Я ложусь, конечно, без всякой молитвы. А Цецильхен, полупроснувшись от света, на миг приоткрывает мутные от дремы глаза и нежно, сонно бормочет:

– Фергисс-майн-нихт…

И тут же снова засыпает.

– А бодай тебя! – сплевывает Юзефа с сердцем и гасит лампу.

Перед моими засыпающими глазами, как каждый вечер, разворачивается, расстилается громадный ковер весь в точечку, в точечку, в точечку. Ковер плывет куда-то вверх. Потом он начинает плыть в обратную сторону, вниз, – сверкающие точечки, точечки, точечки словно несутся в пропасть. Потом… потом я засыпаю и больше ничего не вижу.

Глава пятая. В гостях у Скупого рыцаря

На следующее утро, в понедельник, я просыпаюсь позже обычного: не в восемь, а в девять часов утра. Ведь я вчера легла поздно – ездила с папой в Броварню, а потом мы с ним в Театральном сквере кутили: ели бублики и крем-брюле.

Я тороплюсь одеваться, натягиваю один чулок наизнанку, путаюсь в тесемках и пуговицах. Мне очень хотелось бы не умываться – ведь поздно-то, поздно как! – но разве Юзефу переспоришь? Она стоит надо мной с полотенцем в руках и командует:

– Переверни пончошку (чулок) на другу сторону! Правое ухо в мыле, смой!

– Мы с Сонечкой Михальчук сговорились встретиться в Ботаническом саду! – взмаливаюсь я жалобно.

– Не блоха твоя Сонечка, не ускакнет!

В спешке я не сразу замечаю, что в доме что-то происходит, вернее – произошло утром, пока я спала. Но, когда я причесываю свои «кудлы», Юзефа успевает шепнуть мне с торжеством:

– Папа с немкиней промовку имел!

– Про что?

– Уж ен знаеть, про что! И немкиня тоже знаеть… Видишь?

В самом деле, фрейлейн Цецильхен, сидя у стола, что-то пишет. Глаза у нее покрасневшие, носик припух – она недавно плакала. Время от времени она задумывается, прижимая к губам платочек, – фестончики его вышиты гладью еще под руководством самой фрау директор «Высшей школы дочерей» в Кенигсберге!

Когда я подхожу к Цецильхен, чтобы поздороваться, она смотрит на меня, глаза ее наполняются слезами, она грустно шепчет:

– Ах, Зашинка… Ах, дорогая Зашинка…

Это что-то новое. Фрейлейн Цецильхен не любит моего имени «Сашенька» (язык сломать можно!) и называет меня «Альхен».

Затем Цецильхен обнимает меня и прижимает к себе мою кудлатую голову. Мне неудобно, лицо мое почти лежит на столе, и я невольно успеваю прочитать адрес на конверте – крупными буквами: МЕМЕЛЬ.

Отпустив мою голову, Цецильхен указывает мне на конверт и говорит горько:

– Вот. Пишу ему… Дяде жены моего двоюродного брата. У него в Мемеле собственное кафе… Под названием «В зеленом саду»… Когда у нас дома был семейный совет, ехать мне в Россию или не ехать, этот дядя говорил: «Не надо! Пусть сидит дома!» О, как он был прав! Теперь я пишу ему, пусть он мне что-нибудь посоветует…

У двери в столовую я немного медлю – оттуда слышен голос папы:

– Да перестань волноваться! Если ты сама не умеешь никому сказать «нет» или «вы этого не умеете», так предоставь это мне!

– Но я боюсь, что ты не так сказал, – пытается возразить мама.

– Я был вежлив, как учитель танцев… Но я сказал ей, что не надо браться за то, чего не умеешь делать, вот и все! А нам с тобой надо подумать о настоящем учителе: ребенок способный, любознательный…

Но тут в столовую вхожу я, и разговор сразу иссякает, словно самоварная струя после того, как привернули кран.

Весь день настроение у нас в доме напряженное. Цецильхен со скорбными глазами строчит письма. Гулять со мной в этот день некому. Мама занялась укладкой зимних вещей в нафталин, Юзефа на кухне рубит сечкой мясо, овощи и, по обыкновению, ворчит как нанятая:

– Чи ж я им не говорила? Смотрите, говорила, кого берете! Нет, привезли дуру ребенка учить!

Я взбираюсь на подоконник в передней – оттуда видны окна квартиры, где живет знакомая девочка, Любочка Зильберберг. Раскрываю окно настежь и зову сперва не очень громко:

– Люба! Люба!

Потом громче:

– Любочка-а-а! Юбочка-а-а!

Потом:

– Любка-а! Юбка-а!

И, совсем расшалившись, кричу во весь голос:

– Любочка! Юбочка! Бочка! Очка! Чка! Ка! А!

Наконец одно из окон Любочкиной квартиры чуть-чуть приоткрывается. В узенькую щель виден бледный носик Любочки Зильберберг и белокурая прядка ее волос.

– Что ты кричишь? – сердито бросает она в оконную щель.

– Мне скучно, – говорю я откровенно. – А тебе?

– Тоже.

– А что ты делаешь?

– Ничего, – грустно признается Любочка. – Сидю себе.

– Так приходи ко мне играть!

– Нельзя, – вздыхает Любочка. – И не зови меня! Мне к окошку подходить не велено: я простудюсь…

– Ну, хочешь, я к тебе приду? – предлагаю я великодушно.

Любочка кивает: «Приходи!»

Я соскакиваю с подоконника. Но… надо еще, чтобы мне разрешили идти к Любочке в гости. Ведь я вчера ездила с папой к Шабановым, а мама считает, что ходить каждый день по гостям не к чему. И папа тоже так думает. Так что меня могут и не отпустить к Любочке.

К счастью, папы нет дома, мама тоже куда-то ушла. Значит, можно ни у кого не спрашиваться. Да ведь и иду я не на какую-нибудь другую улицу, а к Любочке, соседке, живущей на одном дворе с нами. Зайду на полчасика, поиграем во что-нибудь – и прибегу домой.

А мне, по правде сказать, интересно побывать у Любочки: я у нее еще никогда не была. Я ее вообще никогда не видела иначе, как в окне. Родители Любочки совсем недавно купили тот дом, в котором мы живем, и переселились в одну из квартир. До сих пор на воротах дома висела табличка: «ДОМ БР. (то есть братьев) АДАМОВИЧ». А теперь ее заменили другой: «ДОМ К-ХИ (то есть купчихи) А. ЗИЛЬБЕРБЕРГ». «К-ха» – это Любочкина мама.

На двери, ведущей с улицы к Зильбербергам, – вывеска. Белыми буквами по черному фону:

СССУДНАЯ КАССА

Мне интересно, что делается там, куда (как папа говорил Юзефе) люди несут закладывать самовары. Я храбро вхожу с улицы в ссудную кассу. Это – помещение, похожее на магазин, с аккуратно сложенными на полках самыми разнообразными предметами. Тут и в самом деле самовар – даже несколько самоваров, – и мандолина, и кастрюли, и посуда. На вешалке висят шубы, мужские костюмы, женские платья. В углу – два велосипеда и детская колясочка. Над всем этим – надпись: «Продается». Помещение перегорожено прилавками, тоже как в магазинах. В одном месте прилавка – откидная доска, чтобы можно было входить за прилавок и выходить из-за него.

За прилавком сидит человек. Я его знаю, видела из окна, это Любочкин папа. Забрав в горсть курчавую темную бороду и сосредоточенно покусывая ее, он совершенно поглощен чтением книги. Услыхав, что кто-то вошел, он неторопливо откладывает книгу в сторону, встает и, упершись обеими руками в прилавок, приветливо обращается ко мне:

– Чем могу служить, барышня?

Но в эту минуту из внутренней двери, ведущей, вероятно, в их квартиру, выбегает Любочка:

– Папа, это моя гостья…

Папа Зильберберг мгновенно теряет ко мне всякий интерес и снова садится за прерванное чтение. А Любочка, взяв мою руку, увлекает меня за собой в ту дверь, из которой она появилась. Там, оказывается, лестница, по которой мы попадаем в квартиру Зильбербергов. Прежде чем войти туда, Любочка деловито спрашивает:

– Ноги у тебя чистые? Потому что у нас паркеты…

Мы входим сперва в комнату с зелеными бархатными портьерами на окнах и дверях. Великолепный письменный стол поразительной чистоты. На нем – очень красивая чернильница: бронзовый медведь обнимает лапами древесный пень. Чернильница – без чернил. На столе – ни одного карандаша, ни одной ручки. Однако мое внимание привлекает не это, а два внушительных книжных шкафа, битком набитых книгами.

– Твои книги?

– Нет! – Любочка энергично мотает головой. – Я не люблю читать. Это папины…

– А можно посмотреть?

– Только через стекла. Шкафы заперты, а ключи у мамы.

Я чувствую уважение к Любочкиному папе. Вон у него сколько книг! И, даже сидя в своей ссудной кассе, он читает!

Я говорю это Любочке, но она меня разочаровывает:

– Нет, папа этих книжек не читает. А там внизу, в кассе, у него молитвенник. Папа у нас очень набожный, – добавляет Любочка с гордостью. – Всякую свободную минуту он молится!

Бог с ним, с Любочкиным папой! Он, оказывается, как Цецильхен, сидит над молитвенником. Наверно, тоже про Абрахама читает!

– Эти книги, со шкафами вместе, папа достал по случаю. Немецкие, французские, английские. Найдется покупатель – папа продаст… Ну, идем дальше!

Мы входим в следующую комнату.

– Это зал! – торжественно возглашает Любочка.

Мебель в зале обита голубым шелком, выглядывающим из-под чехлов сурового цвета. Паркетный пол блестит, как ледяное поле катка. А на окнах удивительные занавеси: с вышитыми на них разноцветными попугаями – розовыми, синими, зелеными, – летающими, сидящими на ветках.

– А кто у вас играет? – спрашиваю я, показывая на большой концертный рояль с хрустальными копытцами под каждой ножкой. – Ты играешь?

Это я спрашиваю с уважением: мне музыка не дается! Мама учит меня играть на фортепьяно, и это стоит нам обеим немало слез. Мама приходит в отчаяние от моей музыкальной тупости. Сама она играет хорошо, а брат ее, мой дядя Миша, даже очень хорошо. Только я одна никудышная в музыке.

Любочка смеется.

– Нет, – говорит она, – я играть совсем не умею. И учиться не хочу… Очень мне это нужно!

– Кто же играет на этом рояле?

– Никто. Папа его по случаю достал…

Из зала мы входим в почти темную столовую. Стены в ней заставлены массивными буфетами, полубуфетами, горками. Сквозь стеклянные их дверцы сверкает хрустальная, серебряная, вызолоченная посуда.

Любочка остановилась, следя за впечатлением, какое производит на меня это великолепие. А я стою и думаю: где я все это уже видела? Где-то в темноте… при слабом свете мерцали золото, серебро… Где это было? Или рассказывал мне кто-то об этом? Или читала я? Не могу вспомнить… Но только знаю: было это.

Конец ознакомительного фрагмента.

Купить: https://tellnovel.com/ru/brushteyn_aleksandra/doroga-uhodit-v-dal

Текст предоставлен ООО «ИТ»
Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию: Купить